

ДЖЕЙМС
ДЖОЙС

*Портрет художника
в юности*

АЗБУКА-КЛАССИКА



Азбука-классика

Джеймс Джойс

Портрет художника в юности

«Азбука-Аттикус»

1915

УДК 821.111
ББК 84(4Ирл)-44

Джойс Д.

Портрет художника в юности / Д. Джойс — «Азбука-Аттикус»,
1915 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-11504-0

Джеймс Джойс – классик англо-ирландской литературы, оказавший колоссальное влияние на прозу XX века. В историю мировой литературы он вошел как автор романа «Улисс», ставшего «евангелием» модернизма и положившего начало литературе «потока сознания». Не менее знаменитый роман Джойса «Портрет художника в юности», представленный в настоящем издании, с необычайной остротой и яркостью рисует внутренний мир молодого человека, одинокого поэта и философа Стивена Дедала, в котором угадывается сам автор.

УДК 821.111
ББК 84(4Ирл)-44

ISBN 978-5-389-11504-0

© Джойс Д., 1915
© Азбука-Аттикус, 1915

Содержание

Глава I	6
Глава II	36
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Джеймс Джойс

Портрет художника в юности

James JOYCE

1882–1941

© С. Хоружий, перевод, комментарии, 2011

© В. Пожидаев, оформление серии, 1996

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Глава I

Et ignotas animus dimittit in artes.
Ovid. Metamorphoses, VIII, 188¹

Давным-давно, в добрые старые времена, жила да была коровушка-буренушка и шла она по дороге все шла да шла и повстречался ей славный малыш по прозвищу мальчик-зайчик...

Эту историю ему рассказывал папа: папа на него глядел через стеклышко: и у папы лицо было в волосах.

Мальчик-зайчик это был он. А буренушка шла по той дороге где жила Бетти Берн: это у кого были лимонные леденцы.

Расцветали розы
На лугу зеленом.

Он пел эту песню. Это его была песня.

Атитали ози.

Когда в постельку намочишь то тепло сперва а потом будет холодно. Мама подстилает клеенку. От нее запах такой какой-то.

От мамы он больше любил запах чем от папы. Мама на пианино играла матросский танец чтобы он плясал. Он плясал:

Тралала лала
Тралала траладушки
Тралала лала
Тралала лала.

Дядя Чарльз и Дэнти прихлопывали. Они старше были чем папа и чем мама только дядя Чарльз еще старше чем Дэнти.

У Дэнти были две щетки в шкафу. Щетка что с бархатной коричневой спинкой была в честь Майкла Дэвитта, а щетка с бархатной зеленой спинкой в честь Парнелла. Дэнти ему давала всегда мятный леденец когда он ей приносил салфетку.

Вэнсы жили в номере семь. У них и папа и мама были другие. Это были папа Эйлин и мама Эйлин. Когда они вырастут большие то он женится на Эйлин. Он спрятался раз под стол, а мама говорит:

– Ну, Стивен больше не будет так, его же тогда в рай не возьмут.

А Дэнти сказала:

– И прилетят коршуны, ему глаза расклюют.

Глаза расклюют,
В рай не возьмут.
В рай не возьмут,
Глаза расклюют.

¹ И к ремеслу незнакомому дух устремил. Овидий. Метаморфозы, VIII, 188.

В рай не возьмут,
Глаза расключают.
Глаза расключают,
В рай не возьмут.

* * *

Площадки для спорта были просторные, и на них роем толпились мальчишки. Все кричали, а старосты их подбадривали еще более громкими криками. Вечереющий воздух был бледным и прохладным. После каждого прорыва и удара по воротам в сумеречном свете словно грузная птица пролетал грязный кожаный шар. Он топтался в хвосте своей команды, подальше от глаз старосты, подальше от буйных бутс, и время от времени делал вид, что бежит. Он чувствовал свое тело слабым и маленьким в гуще игроков, а глаза его плохо видели и слезились. Вот Роди Кикем, он не такой, все мальчишки говорили, он будет капитаном команды третьего класса.

Роди Кикем отличный парень, а Крыса Роуч, тот вредина. Роди Кикем в своем шкафчике держит наколенники, а в столовой у него корзинка с запасами. У Крысы Роуча здоровенные руки. Он назвал пятничный пудинг собака-в-тряпке. А еще он как-то раз спросил:

– Как тебя зовут?

Стивен ответил:

– Стивен Дедал.

Тогда Крыса Роуч опять спросил:

– Это еще что такое за имя?

А Стивен не нашелся ему ответить, и тогда он снова спросил:

– Твой отец кто?

Стивен ответил:

– Он джентльмен.

И Крыса Роуч тогда опять спросил:

– Он что, мировой судья?

Он переступал с места на место в хвосте своей команды, иногда понемножку перебегал. Но руки у него уже от холода посинели. Он держал их в боковых карманах своей серой курточки на ремне. Ремень это что вокруг курточки. А еще ремень это угостить ремнем. Один мальчик сказал как-то Кэнтуэллу:

– Я вот тебя угощу ремнем.

А Кэнтуэлл ответил:

– Ступай подальше. Ты вон Сесила Сандера угости. А он тебе хороший пинок под задницу.

Так говорить это некрасиво. Мама наказывала ему, чтобы он в колледже не разговаривал с грубыми мальчишками. Какая мама хорошая! В самый первый день, когда они в вестибюле замка прощались, она сложила наполовину свою вуаль и подняла до носа, чтобы его поцеловать: и у нее и нос и глаза были красные. Но он притворился, будто не замечает, что она вот-вот расплчется. Мама очень красивая, но когда плачет, не такая красивая. А папа дал ему две монеты по пять шиллингов на карманные расходы. И еще сказал, если только он что-нибудь захочет, пусть напишет ему домой, и чтобы он никогда и ни за что не ябедничал на товарищей. И потом у ворот замка ректор пожал руки папе и маме, и у него сутана трепыхалась по ветру, и кеб тронул и покатыл, и папа с мамой сидели там в кебе. И они из кеба замахали ему руками и закричали:

– Прощай, Стивен, прощай!

– Прощай, Стивен, прощай!

Он оказался в центре свалки вокруг мяча и, боясь горящих глаз, грязных ботс, согнулся и стал смотреть сквозь ноги. Мальчики боролись, пыхтели, а их ноги топали, брыкались, толкались. Потом желтая ботса Джека Лоутона наподдала мяч, и все остальные ботсы и ноги рванули следом. Он пробежал за ними немного и стал. Бежать это же было без толку. Скоро уже все поедут на праздники по домам. После ужина он в классной заменит число семьдесят семь, наклеенное у него внутри парты, на семьдесят шесть.

В классной-то лучше чем сейчас тут на холоде. Небо тоже было холодное и еще бледно-светлое, но в замке зажигали уже огни. Он начал думать, из какого окна Гамильтон Роуэн бросил свою шляпу на изгородь и были ли в то время уже цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда его вызвали в замок, ему служитель там показал выбоины в двери от солдатских пуль и дал сладкого сухарика, такого как монахи едят. От вида огней в замке делалось тепло и уютно, выглядело как картинка в книге. Наверно, Лестерское аббатство так выглядело. В этом учебнике Доктора Корнуэлла вообще предложения красивые. Они как стихи, хотя на самом деле они только примеры на правописание.

Уолси умер в Лестерском аббатстве,
Он был погребен аббатами.
Пол покрывают лаком.
Звери болеют раком.

Как бы сейчас хорошо лежать на коврик перед камином, голову положить на руки и думать про эти предложения. Он вдруг поежился, как будто холодная липкая вода попала на тело. Это же подло было, что Уэллс его столкнул в желоб в уборной, раз он не стал меняться своей табакерочкой на его битку, на сорокаразовый каштан-чемпион. Какая холодная, липкая вода была! Один мальчик видел, как в эту жижу здоровая крыса плюхнулась. Мама с Дэнти сидели у камина и поджидали, когда Бриджет принесет чай. Мама ноги поставила на решетку и ее туфельки домашние расшитые так нагрелись, от них шел такой теплый приятный дух. Дэнти много знала всяких вещей. Она его учила, где Мозамбикский пролив, какая самая длинная река в Америке и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнолл знал еще больше, чем Дэнти, потому что он же священник, но все равно и отец и дядя Чарльз говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина. А Дэнти когда после обеда делает такой звук и потом руку ко рту, то это называется изжога.

С дальнего конца спортплощадки голос крикнул:

– Все домой!

И другие голоса, из младших и средних классов, тоже подхватили:

– Домой! Все домой!

Мальчики собрались вместе, раскрасневшиеся и грязные, и он зашагал с ними, радуясь возвращению. Родик нес мяч, держа за скользкую шнуровку. Один из мальчиков предложил еще наподдать разок, но он шел себе, даже не ответил. Саймон Мунен сказал, что лучше не надо, потому что староста смотрит. А тот мальчик повернулся к Саймону Мунену и сказал:

– Да все знают, почему ты так говоришь. Ты же у Макглэйда подлиза.

Какое-то чудное слово подлиза. Тот мальчик обозвал так Саймона Мунена, потому что Саймон Мунен у старосты иногда связывал за спиной фальшивые рукава, а староста делал вид, что сердится. Только звук противный у слова. Один раз он мыл руки в гостинице на Уиклоу-стрит, а когда вымыл, папа за цепочку вынул пробку из умывальника, и вода грязная полилась через дырку, и когда постепенно вся стекла, то из дырки был в конце такой звук: дллизс. Только громче.

Когда он это вспомнил, и вспомнил, как всё было белое в уборной, ему стало от этого холодно, а потом жарко. Там было два крана, их повернешь, и вода идет, холодная и горячая.

И ему стало сперва холодно, а после немножко горячо, и он как будто увидел надписи на тех кранах. Очень чудно это как-то было.

От воздуха в коридоре ему было тоже зябко. Воздух был сыроватый и сам чудной. Но скоро газ зажгут, а когда он горит, слышится тихий звук, как песенка. Одна и та же всегда, и как только замолчат в рекреационной, ее всегда слышно.

Сейчас была арифметика. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал:

– Ну-ка, кто победит? Давай-ка, Йорк, давай, Ланкастер!

Стивен старался очень, но пример был слишком трудный, и он скоро сбился. Шелковый бантик с белой розой, приколотый к его куртке на груди, начал дрожать. Арифметика шла у него неважно, но он очень старался, так чтобы Йорки не проиграли. Отец Арнолл сделал ужасно нахмуренное лицо, но это он не сердился, он смеялся. Тут Джек Лоутон шелкнул пальцами, а отец Арнолл посмотрел его тетрадь и сказал:

– Все правильно. Браво, Ланкастер! Алая роза победила. Давай-ка, Йорк, догоняй!

Джек Лоутон поглядел из своего лагеря в его сторону. Он был в синей матроске, и шелковый бантик с алой розой смотрелся на ней очень красиво. Стивен почувствовал, как его лицо стало тоже алым, когда он подумал про все эти пари, кто будет первым учеником, Джек Лоутон или же он. В какие-то недели Джек Лоутон получал билет первого, а в какие-то он. Он услышал голос отца Арнолла и стал решать следующий пример, а белый шелковый бантик у него все дрожал и дрожал. Но тут как-то вдруг все старание его прошло, и он почувствовал, что лицо у него уже холодное. Он подумал, что, наверно, его лицо теперь белое, раз оно такое холодное. Пример никак не решался, но теперь ему было все равно. Белые розы и алые розы: хорошо так думать про эти цвета. И билетки за первое место, за второе и за третье тоже красивых цветов, розовый, желтый и лиловый. Про лиловые, желтые, розовые розы хорошо думать. Он вспомнил песенку о розах на зеленом лугу и подумал, что это может быть как раз про такие розы. А вот зеленых роз не бывает. А может где-то на свете они и есть.

Прозвенел звонок. Все классы начали выходить шеренгой из своих комнат и по коридорам потянулись в столовую. Он сидел, уставившись на два кубика масла у себя на тарелке, но не мог есть влажный хлеб. И скатерть была мягкая, влажная. Но он все-таки проглотил жидкий горячий чай, который плеснул в его чашку неуклюжий раздатчик в белом фартуке. Он подумал, что, может быть, фартук у раздатчика тоже влажный и вообще белые вещи все холодные и влажные. Крыса Роуч и Сорин пили какао, которое им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он такой как помой. А про них говорили, что их отцы – мировые судьи.

Все мальчики казались ему очень странными. Все были по-разному одеты, с разными голосами, у всех были свои папы и мамы. Ему больше всего хотелось бы оказаться дома, положить голову маме на колени. Но так было невозможно, и он хотел, чтобы хотя бы поскорей кончились уроки, игры, молитвы, и он бы лежал в постели.

Он проглотил еще чашку чаю, а Флеминг спросил:

– Что с тобой такое? У тебя что-нибудь болит?

– Не знаю, – отвечал Стивен.

– Ты бледный весь, – сказал Флеминг. – Наверно, пузо болит. Ничего, пройдет.

– Конечно, пройдет, – согласился Стивен.

Но там ничего не болело у него. Он подумал, что у него болит в сердце, если только там может болеть. Какой Флеминг добрый, что так спросил. Ему захотелось плакать. Он поставил локти на стол и начал зажимать и снова открывать уши. Всякий раз, как он открывал их, ему снова слышался шум столовой. Это было похоже на гулкий шум от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гулкий шум стихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь в Долки вот так шумело от поезда, а потом, как поезд вошел в туннель, шум затих. Он закрыл глаза и

поезд пошел, зашумел, а потом затих, и опять зашумел – затих. Было хорошо слушать, как он зашумит – затихнет, потом снова выйдет из туннеля зашумит потом стихнет.

Потом старшие мальчики начали выходить из столовой по дорожке, лежавшей посреди залы, Падди Рэт, и Джимми Маги, и испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец в шерстяном берете. Потом столы средних классов и потом третьего класса. И у каждого-каждого мальчика была своя, другая походка.

Он сидел в уголку рекреационной и делал вид, что следит за партией в домино, и один-два раза у него получилось услышать песенку газа. Староста и несколько мальчиков стояли у двери, и Саймон Мунен связывал фальшивые рукава у старосты. Тот рассказывал им что-то про Туллабег.

Потом староста отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и сказал:

– Скажи-ка, Дедал, ты целуешь свою маму перед тем как лечь спать?

И Стивен ответил:

– Да.

Уэллс обернулся к другим и сказал:

– Надо же, этот малый говорит, он целует каждый день свою мамочку перед тем как лечь спать.

Мальчики перестали играть, все повернулись к нему и засмеялись. Стивен сразу покраснел под их взглядами и сказал:

– Нет, я не целую.

А Уэллс сказал:

– Надо же, этот малый говорит, он не целует мамочку перед тем как лечь спать.

И они снова все засмеялись. Стивен пытался тоже засмеяться со всеми. Он почувствовал, как ему сразу стало жарко и неудобно во всем теле. Как же тут правильно ответить? Он ответил и так, и так, а Уэллс все равно смеялся. Уэллс-то знает, как правильно, он уже в последнем из младших классов. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но не решился посмотреть на его лицо. Лицо Уэллса ему не нравилось. Это ведь Уэллс его толкнул накануне в жолоб в уборной за то, что он не стал меняться своей табакерочкой на его битку, на сорокаразовый каштан-чемпион. Это подло было так делать, все мальчики так сказали. А какая холодная, липкая вода была! И один мальчик видел, как в эту жижу здоровая крыса раз! – и плюхнулась.

Липкий холод покрыл все его тело, и когда прозвенел звонок на занятия и все классы стали выходить в шеренгу из рекреационных, он почувствовал, как холодный воздух из коридора и с лестницы забирается ему под одежду. Он все еще старался думать про то, как же ответить правильно. Целовать маму – хорошо это или плохо? А что вообще значит – целовать? Поднимаешь вот так лицо, сказать маме спокойной ночи, а мама тогда свое наклоняет. Вот что такое целовать. Мама прижимала губы к его щеке, у нее губы мягкие и они на щеке оставляли влажный след и еще они чуть-чуть делали такой звук, пц. Почему это люди так делают своими лицами?

Усевшись на свое место в классной, он поднял крышку парты и заменил число семьдесят семь, наклеенное там внутри, на семьдесят шесть. Но до рождественских каникул еще долго – но когда-то они все равно наступят, потому что Земля все время вращается.

Картинка с земным шаром была на первой странице учебника географии: весь в облаках большой шар. У Флеминга была коробка карандашей, и когда был однажды пустой урок, он раскрасил Землю в зеленый цвет, а облака в коричневый. И вышло как те две щетки в шкафу у Дэнти, щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и с каштановой спинкой в честь Майкла Дэвитта. Но он Флеминга не просил, чтобы в такие цвета покрасить, Флеминг это сам так.

Он открыл географию, стал учить, но названия мест в Америке не выучивались. Хотя это всё были разные места, у которых были все эти разные названия. Они все были в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной.

Он пролистал до первой страницы и перечел, что он раньше там написал: себя, свою фамилию и где он находится.

Стивен Дедал
Приготовительный класс
Колледж Клонгоуз-Вуд
Сэллинз
Графство Килдер
Ирландия
Европа
Вселенная

Это было написано его рукой, а на противоположной странице Флеминг однажды вечером ради шутки написал:

Стивен Дедал я зовусь,
Мой народ – ирландский.
Я в Клонгоузе учусь,
А когда-нибудь буду в кушах райских.

Он прочел эти стихи задом наперед, но тогда получались не стихи. Потом он перечел всю первую страницу снизу вверх, пока не дошел опять до своей фамилии. Это вот он – и он еще раз перечел всю страницу. А что дальше за Вселенной? Ничего. Но может что-нибудь было вокруг Вселенной, чтоб показать, где она кончается перед тем как начнется место где ничего? Не стена, конечно, но ведь может же быть какая-то тонкая-тонкая линия вокруг всего. Это что-то очень огромное, если попробуешь помыслить все и всюду. Только Бог может такое. Он хотел подумать, какая это огромная должна быть мысль, но мог только подумать о Боге. Бог это было имя Бога, вот как его имя Стивен. По-французски Бог будет *Dieu*, и это тоже имя Бога, так что если кто-то молится Богу и скажет *Dieu*, Бог знает сразу, что это француз молится. Только хотя у Бога разные имена во всех этих разных языках в мире и хотя Бог понимает все, что бы ни говорили те кто молится на этих своих разных языках, все равно Бог всегда остается тот же самый Бог, и настоящее его имя – Бог.

От всех таких мыслей он очень устал. Ему казалось, что у него голова стала огромная. Он перевернул страницу и вяло уставился на круглую зеленую Землю, окутанную коричневыми облаками. Он начал думать, что правильно, стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды взяла и ножницами спорола зеленую спинку с той щетки, которая в честь Парнелла, и сказала ему, что Парнелл плохой человек. Потом он подумал, идут ли дома споры об этом. Это называлось политика. И в ней было две стороны: Дэнти была на одной стороне, а папа и мистер Кейси на другой, а вот мама и дядя Чарльз, они не были ни на какой стороне. И каждый день в газете что-то было про это.

Его расстраивало, что он не знает как следует, что такое политика, и не знает, где оканчивается Вселенная. Он почувствовал себя слабым, маленьким. Когда еще он станет таким как мальчики из Поэзии и Риторик? У них голоса взрослые, башмаки большие, они проходят тригонометрию. Это так еще всё нескоро. Сначала будут каникулы, потом следующее полугодие, а потом еще каникулы и еще полугодие и еще одни каникулы. Это как поезд, который то в туннель, то наружу, или еще как шум в столовой, когда закрываешь и открываешь уши. Учеба – каникулы; в туннель – наружу; шум – тихо. Как нескоро еще! Хорошо бы скорей в

постель и спать. Осталась только молитва в часовне, а потом спать. Ему стало зябко, и он зевнул. Как приятно в постели, когда уже простыни согрелись. А сперва, когда забираешься, они до того холодные. Ему опять стало зябко, когда он представил, какие они холодные. Но они потом нагреваются, и ты спишь. Чувствовать усталость было приятно. Он снова зевнул. Молитвы вечерние, и в постель; ему стало зябко и захотелось зевать. Скоро станет приятно. Он почувствовал, как от зябких холодных простынь идет струйкой тепло, все теплей, теплей, пока ему не стало всему тепло, совсем-совсем тепло; совсем тепло и все-таки немного зябко и все хотелось зевать.

Прозвенел звонок на вечернюю молитву, и он в шеренге следом за другими вышел из класса и пошел вниз по лестнице, а потом по коридорам в часовню. Свет в коридорах был темноватый, и в часовне был темноватый свет. Скоро везде будет темно и все заснут. Воздух в часовне был холодный, ночной, и мрамор был такого цвета как море ночью. Море и днем и ночью холодное, только ночью оно еще холодней. У мола, что возле дома у них, холодно и темно. Но на огне зато котелок, варить пунш.

Чтец читал молитвы над головой у него, а его память знала уже их все:

Господи, отверзи уста наши
И возвестят уста наши хвалу Тебе.
Снизойди, Господи, к нам на помощь
И подай нам скорое Твое утешение!

В часовне стоял холодный ночной запах. Но это святой был запах, не такой как от старых крестьян, что приходили к воскресной службе и проводили ее всю на коленях, в задних рядах. От них пахло улицей и дождем и торфом и толстой материей. Но они очень были святые, эти крестьяне. Они дышали ему в затылок и всё вздыхали, когда молились. Один мальчик сказал, они живут в Клейне, там маленькие домики, и когда по пути из Сэллинса кебы проезжали мимо, то Стивен однажды видел, как женщина с малышом на руках стояла в дверях такого домика. Как бы хорошо было переночевать в таком домике одну ночь, когда горит и дымится торф в очаге, и от очага темноватый свет, и в теплых потемках крестьянский запах, улицы и дождя и торфа и толстой материи. Но только как там на дороге темно, среди деревьев! Сразу заблудишься в темноте. Он представил это, и ему стало страшно.

Он услышал голос чтеца, читающий заключительную молитву. Он стал тоже ее читать, чтобы одолеть темноту там под деревьями снаружи.

Молим Тя, Господи, посети обитель сию и избави ее от всех козней лукавого. Да пребудут в ней ангелы святые Твои, дабы охранить мир наш, и да не оставит нас благодать Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Когда он раздевался в дортуаре, у него дрожали пальцы. Он велел пальцам торопиться. Ему надо было успеть раздеться, стать на колени, прочитать личные молитвы и лечь в постель до того, как притушат газ, а то иначе он может попасть в ад, когда умрет. Он скатал с ног чулки, надел поскорей ночную рубашку, дрожа, опустил на колени возле постели и начал быстро-быстро читать молитвы, всё опасаясь, что газ вот-вот потухнет. Он чувствовал, как плечи у него трясутся, когда он шептал про себя:

Господи, помилуй папу и маму и сохрани их мне!
Господи, помилуй братишек и сестреноч моих
и сохрани их мне!
Господи, помилуй Дэнти и дядю Чарльза
и сохрани их мне!

Перекрестившись, он быстро юркнул в постель и там, обернув ступни подолом рубашки, дрожа всем телом, съежился в комок между холодными белыми простынями. Но зато он не попадет в ад, когда умрет, а дрожь ведь пройдет скоро. Голос пожелал мальчикам в дортуаре спокойной ночи. Он бросил быстрый взгляд поверх коврика и увидел желтые занавески, что окружали его кровать со всех сторон. Свет тихо притушили.

Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз и по коридорам или же в его комнату в том конце? Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, которая ходит тут по ночам, с огромными глазами, как фонари у кареты? Говорят, это призрак какого-то убийцы. По всему телу его проползла струйка ужаса. Он увидел темный вестибюль замка. Старые слуги в одежде как в старину собрались в гладильной, что над лестницей. Это очень давно было. Слуги сидели тихо. Огонь у них горел, но в вестибюле было темно. И вот из вестибюля по лестнице кто-то поднимается. На нем был белый маршальский плащ – лицо все бледное и со странным выражением – а рукой зажимает бок. И он смотрит на слуг так странно. И они тоже на него посмотрели, узнали своего хозяина лицо, плащ и поняли, что он получил смертельную рану. Но куда они смотрели, там была одна темнота, один только темный воздух и молчание. Хозяина их смертельно ранили под Прагой, далеко-далеко за морем. Он стоял на поле битвы – бок зажимал рукой – лицо было бледное и со странным выражением – и надет был на нем белый маршальский плащ.

До чего было холодно, странно думать про это! Темнота всегда странная и холодная. Отовсюду бледные лица со странным выражением, глаза огромные, как фонари у кареты. Это призраки убийц, тени маршалов, которых смертельно ранили в битве далеко-далеко за морем. Что они хотят сказать, почему у них такое выражение странное на лице?

Молим Тя, Господи, посети обитель сию и избави ее от всех...

Домой на каникулы! Это так здорово, мальчики ему рассказывали. Зимой, рано утром, у подъезда замка усаживаются в кебы. Колеса скрипят по гравию. Ректору счастливо оставаться! Ура! Ура! Ура!

Кебы едут мимо часовни, все снимают шапки. Потом катят весело по проселку. Кучера показывают своими кнутами на Боденстаун. Мальчики кричат ура. Проезжают усадьбу Фермера-Весельчака. Ура, еще ура и снова ура. Проезжают через Клейн, с криками, с приветствиями, их тоже приветствуют. В полуоткрытых дверях стоят крестьянки, кое-где и мужчины. Приятный запах в зимнем воздухе, запах Клейна – дождем пахнет, зимней улицей и тлеющим торфом и толстой материей крестьянской.

В поезде полно мальчиков, это длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обшивкой. Кондукторы ходят взад-вперед, открывают, закрывают, запирают, отпирают двери. Они в темно-синей форме с серебром, и свистки серебряные у них, и от ключей веселая музыка: клик-клик, клик-клик.

А поезд все мчится, по равнине, потом мимо холма Аллена. Телеграфные столбы мелькают, мелькают. Поезд вперед, вперед. Знает куда. Дома в прихожей уже цветные фонарики, гирлянды зеленых веток. Вокруг трюмо плющ и остролист, зеленым плющом, алым остролистом обвиты все канделябры. И старые портреты по стенам тоже в плюще и остролисте, в зеленом и алом. Плющ и остролист в честь него и в честь Рождества.

Так чудесно...

Все домашние. Стивен вернулся, Стивен! Шум, все его приветствуют. Мама его целует. А это правильно? А папа теперь стал маршал, это же выше, чем мировой судья. Стивен вернулся!

Шум, шум...

Был слышен шум занавесок, как их кольца отдергивались по стержням, плеск воды в тазиках. Шум, как кругом в дортуаре вставали, одевались, мылись; шум, как надзиратель хло-

пал в ладоши, прохаживаясь и подгоняя мальчиков. В бледном солнечном свете виднелись желтые отодвинутые занавески, раскиданные постели. Его постель была совсем горячая, его лицо и тело совсем горячие.

Он поднялся и сел на край постели. Он чувствовал слабость. Попытался натянуть чулок, он на теле казался противно грубым, шершавым. Свет солнца был чужой, холодный.

Флеминг сказал:

– Тебе что, нездоровится?

Он сам не знал, и Флеминг тогда сказал:

– Давай обратно в постель. Я Макглэйду скажу, тебе нездоровится.

– Он заболел.

– Кто?

– Скажите Макглэйду.

– Давай обратно в постель.

– Он что, заболел?

Один мальчик поддерживал его за руку, пока он стаскивал приставший к ноге чулок, и потом он залез обратно в постель.

Он съезжился между простынями, радуясь, что они еще теплые. Ему было слышно, как мальчишки, одеваясь и собираясь к мессе, разговаривают между собой. Это подло было так делать, спихнуть его в жолоб в уборной, говорили они.

Потом голоса их затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:

– Дедал, ты на нас не наябедничаешь, правда же?

Там было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.

– Я это не нарочно. Ты ж не наябедничаешь, правда?

Папа сказал ему, что бы он ни делал, никогда не доносить на товарищей. Он покачал головой и ответил нет, и ему стало радостно. Уэллс сказал:

– Я не нарочно, вот клянусь. Я только так, для смеха. Ты извини.

Голос и лицо удалились. Извинился потому что боится. Боится, это какая-то болезнь. Звери болеют раком или может чем-то другим. Это было давно-давно в сумерках тогда на площадке, он переступал с места на место в хвосте команды, и тяжелая птица низко летала в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. Уолси там умер. Он был погребен аббатами.

Это было не Уэллса лицо, а надзирателя. Он не притворяется. Нет-нет, он правда заболел. Он не притворяется. И он почувствовал у себя на лбу руку надзирателя, и под этой рукой, холодной и влажной, почувствовал, какой у него горячий и влажный лоб. Это было как почувствовать крысу, она скользкая, влажная, холодная. У каждой крысы два глаза, чтобы смотреть. Шкурки гладкие, скользкие, лапки крохотные поджаты, чтоб прыгать, глазки черные, блестящие, чтоб смотреть. Они понимают как это надо прыгать. А вот тригонометрии крысиный ум не может понять. Когда они дохлые, то лежат на боку, и шкурки тогда у них высохшие. Это тогда просто падаль.

Опять появился надзиратель, и голос его теперь говорил, что он должен встать, что это отец помощник ректора сказал, ему надо встать, одеться и пойти в лазарет. И пока он одевался, стараясь как можно быстрее, надзиратель приговаривал:

– Ничего не поделаешь, надо перебираться к брату Майклу, раз пузик у нас болит! Ух как несладко, когда пузик болит! Уж такой бледный вид, когда пузик болит!

Он так говорил, потому что добрый. Это всё, чтобы он смеялся. Только он смеяться не мог, у него все щеки и все губы дрожали, и раз так, надзирателю пришлось самому смеяться.

И надзиратель крикнул:

– Живенько марш! Сено-солома!

Они спустились вместе по лестнице, прошли по коридору и мимо ванной. Минувя дверь в ванную, он с чувством смутного страха вспомнил теплую и болотистую, торфяного цвета воду, теплый и сырой воздух, шум от плюханий в воду и запах от полотенец как от лекарств.

Брат Майкл стоял в дверях лазарета, и из двери темного чулана по правую руку от него шел запах как от лекарств. Он шел от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, а тот отвечал и обращался к надзирателю сэр. У него были волосы рыжеватые с сединой и какой-то чудной вид. И чудно тоже, что он так и будет всегда братом. И потом еще чудно, что его нельзя было называть сэр, раз он был брат и у него был вид не такой, как у остальных. Он что, не такой святой, почему он не мог сравняться со всеми?

В комнате были две кровати, и на одной лежал мальчик; и когда они вошли, он крикнул:

– Привет! Да это малыш Дедал! С чего это ты сюда?

– Со второго этажа, – сказал брат Майкл.

Это был из третьего класса мальчик. Пока Стивен раздевался, он все просил брата Майкла дать ему поджаренного хлеба с маслом.

– Ну, ломтик, пожалуйста, – говорил он.

– Не умасливай! – отвечал брат Майкл. – Завтра утром, когда доктор придет, мы тебя выпишем из лазарета.

– Выпишете? – переспросил мальчик. – А я еще не поправился.

Брат Майкл повторил:

– Завтра утром мы тебя выпишем из лазарета.

Он наклонился и стал шуровать уголь в камине. Спина у него была длинная как у лошади, что возит конку. Он двигал усердно кочергой, а головой кивал мальчику из третьего.

Потом брат Майкл ушел, а еще погодя немного мальчик из третьего отвернулся к стенке и заснул.

Это лазарет. Значит, он заболел. А они написали домой, маме с папой? Хотя еще быстрее было бы, если бы кто-то из священников поехал и им сказал. Или он бы сам написал письмо, а священник бы передал.

Дорогая мама

Я заболел. Я хочу домой. Ты приезжай, пожалуйста, и меня заведи домой.

Я в лазарете.

Твой любящий сын,

Стивен

Как они далеко! За окошком холодным светом светило солнце. Он подумал, а вдруг он умрет. В солнечный день все равно же умирают. Может, он умрет раньше, чем мама придет. Тогда по нему отслужат заупокойную мессу в часовне, так было, когда Литтл умер, ему мальчики рассказывали. Мальчики все придут на мессу, все будут в черном, лица у всех печальные. Уэллс тоже придет, но на него никто даже смотреть не захочет. Ректор будет в черной с золотом мантии, и свечи будут гореть высокие, желтые, на алтаре и вокруг катафалка. И потом медленно гроб вынесут из часовни, и его похоронят на том маленьком кладбище общины, за главной аллеей липовой. И Уэллс будет жалеть, что он сделал. И колокол будет медленно звонить.

Он даже слышал звон. Он стал повторять про себя песню, которой его научила Бриджет.

Динь-дон! Слышен звон!

Прощай навеки, мама!

Тихим сном мне спать суждено

Со старшим братцем рядом.

Гроб с черною каймою,

Шесть ангелов за мною,

Молятся двое, а двое поют,
Двое мою душу на небо несут.

До чего это красиво и грустно! Какие слова красивые, вот эти, где говорится *Тихим сном мне спать суждено!* По телу его прошла дрожь. Так грустно, так красиво! Ему захотелось поплакать тихонько, но не о себе, а над этими словами, что были грустные и красивые как музыка. Слышен звон! Слышен звон! Тихий сон! Тихий сон!

Свет солнца был уже не такой холодный, и у его кровати стоял брат Майкл с чашкой бульона. Он обрадовался, потому что во рту было горячо и все пересохло. Слышно было, как там на площадках играют мальчишки. В колледже шел обычный день, как если бы он по-прежнему там был.

Потом брат Майкл стал уходить, а мальчик из третьего ему сказал, чтобы он непременно пришел опять и рассказал бы ему все новости, что в газете. Он сказал Стивену, что его фамилия Этай и что отец его держит скаковых лошадей, целую кучу, классные скакуны, и отец всегда был бы рад подсказать хорошую ставочку брату Майклу, потому что брат Майкл такой добрый и всегда ему рассказывает новости из ежедневной газеты, которую получают в замке. Там новости какие хочешь, происшествия, кораблекрушения, спорт, политика.

– А теперь в газетах сплошь про одну политику, – сказал он. – У тебя дома как, тоже про это все?

– Да, – ответил Стивен.

Мальчик подумал потом минуту и сказал:

– У тебя чудная фамилия, Дедал, а у меня тоже чудная, Этай. Это название города, моя фамилия. А твоя как латинская.

Потом он спросил:

– А ты загадки отгадывать умеешь?

– Не очень хорошо, – ответил Стивен.

Тогда мальчик спросил:

– А вот такую ты отгадаешь: чем графство Килдер отличается от Азии?

Стивен поискал в уме отгадку, потом сказал:

– Не знаю, сдаюсь.

– А тем, что в Азии – Китай, а в графстве Килдер – Этай, вот чем!

– А, понятно, – сказал Стивен.

– Это старинная загадка, – сказал мальчик.

Через минуту он снова заговорил:

– А знаешь?

– Что? – спросил Стивен.

– Эту загадку можно еще по-другому загадать.

– Можно по-другому? – переспросил Стивен.

– Ту же самую, – подтвердил мальчик. – А ты знаешь, как по-другому?

– Нет, – отвечал Стивен.

– И не можешь сообразить, как по-другому?

Говоря, он приподнялся на своей постели и смотрел на Стивена. Потом снова откинулся на подушку и сказал:

– Есть другой способ ее загадать, только я тебе не скажу какой.

Почему он не хочет сказать? Наверно, папа его, у которого скаковые лошади, тоже мировой судья, как папы у Сорина и у Крысы Роуча. Он стал думать про своего папу, как тот пел, когда мама играла на рояле, и как давал ему всегда шиллинг, если попросишь шестипенсовик, и ему стало жалко папу, что он не мировой судья, как папы у других мальчишек. А тогда почему его сюда отдали учиться, вместе с ними? Но ведь папа говорил ему, что он тут не будет чужа-

ком, потому что его двоюродный дед пятьдесят лет назад подносил адрес освободителю. Людей того времени узнаешь всегда по старинной одежде. Ему казалось, тогда все было торжественно – и он подумал, что это, может быть, как раз в те времена ученики в Клонгоузе носили голубые шинели с медными пуговицами, желтые жилетки и шапки из кролика, и тогда они пили пиво как взрослые и держали своих гончих для охоты на зайцев.

Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет потускнел заметно. Над площадками сейчас, наверно, серое пасмурное небо. Шума с площадок не доносилось. Наверно, его класс сейчас пишет упражнения или же отец Арнолл читает им вслух.

Как странно, что ему тут не дали никакого лекарства. Может быть, брат Майкл его принесет, когда вернется. Мальчики говорили, когда ты в лазарете, то какую-то микстуру вонючую заставляют пить. Но он уже себя чувствовал лучше. Хорошо бы лежать и медленно выздоравливать. Тогда можно здесь книжки получать. В библиотеке есть книжка про Голландию. В ней такие чудесные иностранные имена, картинки с какими-то необыкновенными городами, с кораблями. Рассматриваешь их, и так здорово.

До чего тусклый свет за окном! Но так тоже хорошо. На стенке огонь подымается и опадает. Как будто волны. Кто-то подбросил угля, и ему послышались голоса. Они разговаривали. Это был шум волн. Или это волны разговаривали одна с другой, меж тем как они подымались и опадали.

Он увидел море в волнах, длинные темные валы подымались и опадали, темные в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на пирсе, там, куда приближался корабль – и он увидел целую толпу людей, собравшихся у кромки воды, смотрящих, как корабль входит в гавань. На мостике корабля стоял высокий человек, глядя в сторону темной и плоской земли: и при свете огонька с пирса он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла.

Он увидел, как высокий человек протянул руку к народу и услышал, как он произносит громким и скорбным голосом, разносящимся над водой:

– Он умер. Мы видели его на смертном одре.

Скорбный плач раздался в толпе.

– Парнелл! Парнелл! Он умер!

Они пали на колени, рыдая в глубокой скорби.

И он увидел Дэнти в коричневом бархатном платье и зеленой бархатной накидке, ниспадающей с плеч. Безмолвно и гордо она шествовала мимо людей, стоявших на коленях у кромки воды.

* * *

Высокая грудa угля в камине вовсю пылала ярко-алым огнем, и под люстрой, рожки которой увиты были плющом, был накрыт рождественский стол. Они вернулись домой, слегка задержавшись, но ужин все равно был еще не готов: вот-вот готов будет, сказала мама. Они поджидали, когда распахнется дверь и войдут служанки, держа большие блюда, закрытые тяжелыми металлическими крышками.

Все ждали: дядя Чарльз сидел поодаль у окошка в тени, Дэнти и мистер Кейси сидели в креслах по разные стороны от камина, а Стивен – между ними на стуле, положив ноги на мягкую подставочку. Мистер Дедал поглядывал на себя в зеркало, висящее над камином, и подкручивал кончики усов, а потом раздвинул руками фалды фрака и стал к камину спиной, но время от времени он отнимал руку от фалды и снова подкручивал то один, то другой кончик. Мистер Кейси голову склонил набок и с улыбкой себя постукивал пальцами по шее. И Стивен улыбался тоже, он же ведь знал теперь, что это неправда, будто бы у мистера Кейси в горле кошелек с серебром. Он улыбался, вспоминая, как это его так обманывал этот серебряный звук, что умел делать мистер Кейси. А когда он раз попытался разжать у мистера Кейси руку и

поглядеть, не спрятан ли там этот кошелек, то оказалось, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси ему сказал, что у него три пальца на руке остались скрюченными с тех пор, как он делал подарок королеве Виктории на день рождения.

Мистер Кейси постукивал себя пальцами по шее и сонно улыбался Стивену; а мистер Дедал сказал:

– М-да. Ну что ж, все прекрасно. Неплохо мы прогулялись, верно, Джон? М-да... Интересно, есть ли шансы получить ужин сегодня. М-да... Но мы-таки отлично наглотались озона в округе мыса. Готов божиться.

Он обернулся к Дэнти и спросил:

– А вы вообще куда сегодня не двигались, миссис Риордан?

Дэнти нахмурилась и кратко ответила:

– Нет.

Мистер Дедал отпустил фалды фрака и направился к буфету. Подойдя, он достал из закрытого отделения большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наполнять графин, то и дело наклоняясь увидеть, сколько налилось уже. Потом поставил кувшин обратно и плеснул понемногу виски в два стаканчика, прибавил в них немного воды и вернулся с ними к камину.

– Всего наперсточек, Джон, – сказал он, – для возбуждения аппетита.

Мистер Кейси принял стаканчик и, отхлебнув из него, поставил на каминную полку. Потом он сказал:

– А мне все вспоминается друг наш Кристофер, как он там варганит...

Тут его одолел смех вместе с кашлем, и он закончил с трудом:

– ...варганит этакое шампанское для тех парней.

Мистер Дедал громко расхохотался.

– Это Кристи-то? – переспросил он. – Да у него в каждой бородавке на лысине больше хитрости, чем у целой стаи лисиц!

Он наклонил голову набок, прикрыл глаза и, усиленно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:

– И когда с вами говорит, уж такая у него сладость во рту, вы просто не поверите. Обслуживает все свои индюшачьи сережки, дай ему Бог здоровья.

Мистер Кейси все еще не мог справиться со своим кашлем и смехом. А Стивен, увидев и услышав хозяина гостиницы в отцовском лице и голосе, тоже засмеялся.

Мистер Дедал вставил в глаз монокль и, пристально посмотрев на сына, проговорил ласково и спокойно:

– Ну, а ты-то чему смеешься, несмышленный малыш?

Тут вошли служанки и поставили на стол блюда. Следом за ними появилась миссис Дедал и, приведя в порядок места для всех, сказала:

– Прошу садиться.

Мистер Дедал уселся во главе стола со словами:

– Миссис Риордан, прошу вас. Джон, присаживайтесь, голубчик.

Посмотрев вглубь, где сидел дядя Чарльз, он добавил:

– Пожалуйста, сэр, тут вас птичка ждет.

Когда все расселись, он положил было руку на крышку блюда, но тут же отдернул ее и проговорил:

– Давай-ка, Стивен.

Стивен поднялся и прочитал молитву перед едой:

Благослови, Господи, нас и благослови даяния сии, кои по милости Твоей ниспосылаеши нам чрез Христа Господа нашего. Аминь.

Все перекрестились, и мистер Дедал с удовлетворенным вздохом поднял с блюда тяжелую крышку, по краям ожемчуженную блестящими каплями.

Стивен глядел на жирную индейку, которая на столе в кухне лежала перевязанная для жарки и проткнутая спицей. Он знал, что папа заплатил за нее гинею у Данна на Д'Ольер-стрит, и продавец много раз тыкал ее в грудь, показать, какая она хорошая, и ему припомнился голос продавца, как он говорил:

– Возьмите эту вот, сэр. Товар высший класс.

Почему это в Клонгоузе мистер Барретт называет индюшкой свою линейку для наказания по рукам? Но Клонгоуз был сейчас далеко – а от блюд и тарелок шел густой теплый запах индейки и окорока и сельдерея, и в камине ярко-алю пылала высокая груда угля, и от зеленого плюща и алого остролиста повсюду было так радостно – а когда ужин кончится, то еще принесут большой плам-пудинг, обсыпанный чищенным миндалем, украшенный остролистом и маленьким зеленым флажком на верхушке, и по нему будет бегать голубой огонек.

Это был первый его рождественский ужин, и он подумал про своих младших братьев и сестер, которые оставались в детской и там ждали до пудинга, как и он раньше ждал. В итонском костюмчике с низким отложным воротником он себя чувствовал как-то непривычно, чуть ли не стариком; а когда утром он оделся, чтобы идти к мессе, и вместе с мамой вышел в гостиную, папа прослезился. Он это потому что он вспомнил про своего папу. Дядя Чарльз так и сказал.

Мистер Дедал снова закрыл блюдо крышкой и принялся есть с большим аппетитом. Потом он сказал:

– Бедняга Кристи, его сейчас уж вовсе перекосило от его плутней.

– Саймон, – заметила миссис Дедал, – ты не подал соуса миссис Риордан.

Мистер Дедал тут же взялся за соусник.

– Да как же это я! – воскликнул он. – Миссис Риордан, уж вы простите слепого.

Дэнти прикрыла свою тарелку руками и сказала:

– Нет, благодарю вас.

Мистер Дедал повернулся к дяде Чарльзу.

– А как у вас дела, сэр?

– Как в аптеке, Саймон.

– А вы, Джон, как?

– Полный порядок. Сами навестывайте.

– А ты, Мэри? Стивен, тут вот кой-что, чтобы у тебя волосы вились.

Он щедро налил соуса Стивену в тарелку, поставил на место соусник и спросил дядю Чарльза, мягкая ли индейка. У дяди Чарльза был полный рот и он не мог говорить, но он кивнул, что мягкая.

– А здорово наш друг ответил канонику, разве нет? – спросил мистер Дедал.

– Я, честно говоря, не думал, что его на такое хватит, – сказал мистер Кейси.

– *Отец мой, я заплачу церковный сбор тогда, когда вы прекратите делать из дома Божьего будку для голосования.*

– Премилый ответ священнику, – сказала Дэнти, – от человека, который называет себя католиком.

– Им некого тут винить, кроме самих себя, – произнес мистер Дедал сладким тоном. – Им каждый дурачок скажет, что лучше бы они занимались только религией.

– Это и есть религия, – сказала Дэнти. – Они исполняют свой долг, когда предостерегают народ.

– Мы ходим в дом Божий, – сказал мистер Кейси, – чтобы смиренно молиться Творцу нашему, а не слушать предвыборные речи.

– Это и есть религия, – опять повторила Дэнти. – Они правильно делают. Пастыри должны наставлять свою паству.

– И вести политическую агитацию с амвона, так выходит? – спросил мистер Дедал.

– Конечно, – сказала Дэнти. – Здесь речь о нравственности. Если священник не говорит своей пастве, что хорошо и что дурно, то это не священник.

Миссис Дедал положила свои ножик и вилку и сказала:

– Ради милости Божией и благости Божией, давайте мы оставим политические споры хотя бы на один этот день в году.

– Вот это правильно, мэм, – сказал дядя Чарльз. – Саймон, хватит уже. Давай-ка ни слова больше.

– Хорошо, хорошо, – сказал скороговоркой мистер Дедал.

Быстрым жестом он открыл блюдо и произнес:

– Ну, кому там еще индейки?

Никто не откликнулся, а Дэнти повторила опять:

– Премилые выражения для того, кто считает себя католиком.

– Миссис Риордан, я вас прошу, – сказала миссис Дедал, – я прошу вас оставить эту тему.

Дэнти повернулась к ней и сказала:

– Так значит я должна сидеть здесь и слушать, как издеваются над пастырями моей церкви?

– Да никто против них и слова не говорит, – вмешался мистер Дедал, – пока они не лезут в политику.

– Епископы и священники страны высказали свое суждение, – произнесла Дэнти, – и ему надо повиноваться.

– Если они не бросят политику, – сказал мистер Кейси, – то, знаете, народ может бросить церковь.

– Вот, вы слышите? – воскликнула Дэнти, повернувшись к миссис Дедал.

– Мистер Кейси! Саймон! Ну прекратите же, – молила миссис Дедал.

– Нехорошо, ох как плохо! – произнес дядя Чарльз.

– Что?! – вскричал мистер Дедал. – И мы должны были отступить от него по английскому приказанию?

– Он больше уже не был достойным вождем, – сказала Дэнти. – Он был разоблаченным грешником.

– Мы все грешники, и притом злостные грешники, – холодно возразил мистер Кейси.

– *Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят*, – произнесла миссис Риордан. – *Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих.*² Таковы слова Духа Святого.

– И весьма скверные слова, если вам интересно мое мнение, – невозмутимо отвечал мистер Дедал.

– Саймон! Саймон! – забеспокоился дядя Чарльз. – Ведь тут мальчик.

– Да-да, конечно, – нашелся мистер Дедал. – Я ведь это о чем... носильщик на станции говорил весьма скверные слова... Все в порядке, господа, все в порядке. Стивен, давай-ка свою тарелку, паренек. Вот, заправляйся как следует.

Он наложил Стивену полную тарелку, а потом дяде Чарльзу и мистеру Кейси тоже положил по большому куску индейки с обильной порцией соуса. Миссис Дедал ела совсем мало, а Дэнти сидела, сложив руки на коленях, и лицо у нее было красное. Мистер Дедал принялся резать то, что было еще на блюде, а потом объявил:

² Лк. 17: 1–2.

– А вот самый лакомый кусочек, который зовется папский нос! Кто из дам и господ желает...

Он поднял перед собой кусок дичи на вилке. Никто не отозвался. Тогда он положил кусок на свою тарелку со словами:

– Ну что ж, мое дело предложить. Съем-ка я сам его, как-то я последнее время не в форме.

Подмигнув Стивену и закрыв блюдо крышкой, он снова принялся за еду.

Пока он ел, царило молчание. Потом он заговорил:

– Что же, день-то был славный, в конце концов. И в городе приезжих целые толпы.

Никто не отозвался. Он продолжал:

– Приезжих было больше, пожалуй, чем на прошлое Рождество.

Он поглядел вокруг, но у всех сидящих лица были уткнуты в тарелки. Ответа ему не последовало. Выждав минуту, он проговорил в сердцах:

– Испортили-таки мне рождественский ужин!

– Не может быть ни счастья, ни благодати, – сказала Дэнти, – в том доме, где нет почтения к пастырям.

Мистер Дедал с шумом швырнул на свою тарелку вилку и нож.

– Почтение! Это что, к Билли-губошлепу или к бочке с потрохами из Армаха? Почтение!

– Князья церкви! – процедил презрительно мистер Кейси.

– Ага, как конюх лорда Лейтрима, – добавил мистер Дедал.

– Они Божии помазанники, – сказала Дэнти. – Они честь нации.

– Бочка с потрохами, – произнес резко мистер Дедал. – Когда почивает, вы скажете – красавчик. Надо вам видеть, как этот гусь лопают свинину с капустой в зимний денек. Картинка!

Он скорчил на лице грубую тупую гримасу и зачавкал громко губами.

– Правда, Саймон, – сказала миссис Дедал, – при Стивене ты не должен так говорить. Это нехорошо.

– О, когда он вырастет, он припомнит все это, – с жаром вмешалась Дэнти, – припомнит все речи против Бога, и против религии, и против священников, что он наслушался в своем доме.

– И пусть еще он припомнит, – крикнул ей мистер Кейси через стол, – те речи, которыми священники и их шавки клеймили и загоняли в гроб Парнелла. Пусть он это тоже припомнит, когда вырастет.

– Сукины дети! – вскричал и мистер Дедал. – Едва он попал в беду, они его тут же предали, как крысы из помойки набросились. Подлые псы! Да они и смахивают на псов, я божусь!

– Они правильно поступили, – кричала Дэнти. – Они были послушны своим епископам и священникам. Честь и хвала им!

– Но это просто ужасно, – проговорила миссис Дедал, – даже такой единственный день в году не может у нас быть без этих ужасных споров.

Дядя Чарльз мягким жестом поднял вверх руки и сказал:

– Ну послушайте же, послушайте! Неужели мы все не можем высказывать свои взгляды, какие бы они ни были, не выходя из себя, не ругаясь. Это же так плохо.

Миссис Дедал заговорила тихим голосом с Дэнти, но Дэнти громко отрезала:

– Нет уж, я не стану молчать. Когда вероотступники оплевывают и поносят религию и церковь, я буду защищать их.

Тут мистер Кейси резко оттолкнул свою тарелку на середину стола и, поставив на стол локти, хриловатым голосом обратился к хозяину:

– Скажите-ка, а я вам не рассказывал историю про самый знаменитый плевок?

– Да нет, Джон, – ответил мистер Дедал.

– Ну как же, – продолжал мистер Кейси, – весьма поучительная история. Случилось это не слишком давно в том самом графстве Уиклоу, где мы ныне находимся.

Тут он остановился и, обернувшись к Дэнти, со сдержанным возмущением произнес:

– И могу доложить вам, мэм, что если вы имели в виду меня, то я не вероотступник. Я католик, каким был до меня мой отец, а до него был его отец, а до него был его и так далее, в те времена, когда мы отдавали жизни, но не отступались от своей веры.

– Тем более постыдно для вас сейчас так говорить, как вы говорите, – сказала Дэнти.

– Ладно, Джон, вы все-таки расскажите историю, – с улыбкой проговорил мистер Дедал.

– Уж это католик! – сказала Дэнти с насмешкой. – Да самый отпетый протестант не наговорит такого, что я сегодня здесь слышала.

Мистер Дедал замурлыкал себе под нос мелодию уличных певцов, покачивая головой из стороны в сторону.

– Я не протестант, еще раз вам повторяю, – сказал мистер Кейси, багровея.

Мистер Дедал, все так же покачивая головой, пропел нарочито гнусавым голосом:

Сбирайтесь все, о католики,
Которые к мессе не ходят.

Вновь придя в хорошее настроение, он взял нож и вилку и вернулся к еде, приговаривая мистеру Кейси:

– Выкладывайте-ка свою историю, Джон, нам будет полезно для пищеварения.

Стивен с теплом и сочувствием смотрел на мистера Кейси, который глядел неподвижно перед собой, оперев голову на соединенные руки. Ему нравилось сидеть подле него у огня, снизу посматривая на его суровое темное лицо. Но темные глаза его не бывали суровыми, а голос всегда был нетороплив и приятен для слуха. Только почему же он против священников? Ведь тогда Дэнти значит права. Но Стивен слышал, как отец однажды сказал, что она неудавшаяся монахиня, была в монастыре в Аллегени и ушла из него, когда ее брат сильно нажился на продаже дикарям всяких побрякушек. Может, из-за этого она и стала против Парнелла. И она не любила, чтобы он играл с Эйлин, потому что Эйлин была из протестантов, а Дэнти когда была молодая, то знала детей, которые водились с протестантскими детьми, а протестанты насмехались над литанией Пресвятой Девы, всё повторяя *Башия кости слоновой, Чертог златой!* Как это женщина может быть башней из слоновой кости и чертогом из золота? Кто тут все-таки прав? И ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоузе, темные воды, огонек на пирсе и скорбные вопли тех, кто услышал весть.

У Эйлин были белые тонкие руки. Как-то, когда играли в жмурки вечером, она прижала ему к глазам свои руки: длинные, белые и тонкие, холодные, мягкие. Такая вот и слоновая кость: она холодная, белая. Значит, это и есть смысл слов *Башия кости слоновой*.

– История милая и короткая, – сказал мистер Кейси. – Дело было в Арклоу, в холодный ненастный день, незадолго до смерти вожда, да будет с ним милость Божия!

Он сделал паузу, устало прикрыв глаза. Мистер Дедал взял косточку со своей тарелки и принялся обглаживать с нее мясо, со словами:

– До его убийства, вы хотите сказать.

Мистер Кейси снова открыл глаза и, вздохнув, продолжал:

– Стало быть, все происходило в Арклоу. Мы устраивали митинг, и когда он закончился, нам надо было идти на станцию, пробираясь сквозь густую толпу. Ну, такого воя и рева вам никогда не слышать, дружище. Они нас крыли всеми мыслимыми словами. А одна старая леди, а точнее, старая ведьма, пьяная в стельку, весь свой пыл обратила на меня. Она приплясывала рядом со мной в грязи, визжала и вопила мне прямо в физиономию: *Враг пастырей наших! Парижская биржа! Мистер Фокс! Китти О'Шей!*

– И что ж вы делали, Джон? – спросил мистер Дедал.

– Я ей дал наораться вволю, – ответил мистер Кейси. – День был холодный, и чтоб взбодриться, я заложил себе за щеку (не при вас будь сказано, мэм) добрую порцию талламорского табаку. Так что я все равно ни слова не мог сказать, у меня был полон рот табачного соку.

– Ну-ну, и что дальше?

– Дальше. Я ей дал наораться в полное ее удовольствие, и *Китти О’Шей*, и все остальное, пока она наконец не назвала эту леди уж таким словом, каким я не стану поганить ни этот праздничный ужин, ни ваши уши, мэм, ни мои собственные уста.

Он опять смолк. Мистер Дедал, оторвавшись от своей косточки, спросил:

– Так что же вы сделали все-таки?

– Что сделал? – переспросил мистер Кейси. – Когда она это говорила, она чуть ли не прижала к моему лицу свою мерзкую старую рожу, а у меня рот-то был полон табачного соку. Я к ней наклонился и ей говорю *ТЬФУ!* – вот таким манером.

Он отвернулся в сторону и изобразил, будто плюет.

– *ТЬФУ!* говорю ей вот так, и попал прямо в глаз.

Он приложил руку к своему глазу и издал хриплый стон, как от боли.

– *Ох, Иисусе, Дева Мария, Иосиф!* – это она. – *Ох, я ослепла, совсем ослепла, я утопла!*

Он поперхнулся сразу от кашля и от смеха и повторял:

– *Ох, вовсе ослепла!*

Мистер Дедал, громко расхохотавшись, откинулся на спинку стула, а дядя Чарльз качал головой.

У Дэнти был вид ужасно сердитый, и она все повторяла, пока они хохотали:

– Очень красиво! Ха! Очень красиво!

Это некрасиво было, про плевков в глаз женщине. Но только каким же словом она обозвала Китти О’Шей, что мистер Кейси не мог даже повторить? Он представил, как мистер Кейси пробирается сквозь толпу, как он произносит речь с платформы. За это он и сидел в тюрьме. И он вспомнил, как однажды в позднее время домой к ним пришел сержант О’Нил, он стоял в прихожей, тихо разговаривал с отцом и покусывал нервно ремешок от своей фуражки. И после этого мистер Кейси не поехал обратно в Дублин на поезде, а к их дому подкатила телега, и Стивен слышал, как отец что-то объяснял про дорогу на Кабинтили.

Он был за Ирландию и за Парнелла, и папа был за них, но ведь и Дэнти тоже была за них, потому что однажды вечером на эспланаде она стукнула джентльмена по голове зонтиком за то, что он снял шляпу, когда оркестр в конце стал играть *Боже храни королеву*.

Мистер Дедал фыркнул презрительно.

– Эх, Джон, – произнес он, – такие они и есть. Мы несчастное заеденное попами племя, и такие были и будем, пока вся лавочка не закроется.

Дядя Чарльз качал головой и приговаривал:

– Плохо дело! Ох, плохо дело!

Мистер Дедал повторил еще раз:

– Племя Богом забытое и попами заеденное!

Он показал на портрет своего деда, висевший от него справа.

– Вы видите этого старика, Джон? – спросил он. – Он был добрым ирландцем в те времена, когда денег за это не платили. Он был приговорен к смерти вместе с другими белыми ребятами. Так вот он любил приговаривать о наших друзьях-церковниках, что ни одного из них он бы за свой стол не пустил.

Дэнти вмешалась гневно:

– Если священники верховодят в нашем племени, то этим надо гордиться! Они зеница ока Божия. Не касайтесь их, говорит Христос, ибо они – зеница ока Моего.³

– А нам, значит, нельзя уже любить нашу родину? – спросил мистер Кейси. – Нельзя следовать за человеком, которому на роду написано было вести нас?

– Он предатель родины! – воскликнула Дэнти. – Предатель, прелюбодей! Священники совершенно правильно от него отвернулись. Они всегда истинные друзья Ирландии.

– Да ну, неужто? – сказал мистер Кейси.

Он резко поставил на стол кулак и, гневно нахмурясь, начал разжимать один палец за другим.

– Разве ирландские епископы не предали нас во время унии, когда епископ Лэниган поднес верноподданнический адрес маркизу Корнуоллису? Разве епископы и священники не продали чаяния всей страны в тысяча восемьсот двадцать девятом году в обмен на свободу католической религии? И разве они не шельмовали фенианского движения как с амвона, так и в исповедальнях? И не надругались над прахом Теренса Белью Макмануса?

Лицо его пылало от гнева, и Стивен почувствовал, как его лицо тоже начинает пылать, так действовали на него эти слова. Мистер Дедал презрительно и грубо загоготал.

– Ах ты, господи, а я ж еще забыл старикашку Пола Коллена! Тоже еще зеница ока Божия! Дэнти, перегнувшись через стол, закричала мистеру Кейси:

– Они правы! Правы! Всегда правы! Бог, мораль и религия на первом месте.

Видя, как она возбудилась, миссис Дедал сказала:

– Миссис Риордан, не волнуйтесь, лучше не отвечайте им.

– Бог и религия превыше всего! – кричала Дэнти. – Они превыше мирского!

Мистер Кейси поднял сжатый кулак и с силой стукнул им по столу.

– Раз так, отлично! – хрипло вскричал он. – Если на то пошло, не надо Бога Ирландии!

– Джон! Джон! – воскликнул мистер Дедал, дергая гостя за рукав.

Дэнти смотрела перед собой, и щеки ее тряслись. Мистер Кейси тяжело встал со стула и перегнулся в ее сторону через стол, одной рукой он неловко шарил в воздухе перед своими глазами, словно убирая какую-то паутину.

– Не надо Бога Ирландии! – крикнул он. – Слишком много в Ирландии Его. Долой Бога!

– Богохульник! Дьявол! – взвизгнула Дэнти и тоже вскочила с места, почти готовая плюнуть ему в лицо.

Дядя Чарльз и мистер Дедал вдвоем усадили мистера Кейси обратно, с двух сторон урезонивая его. С горящими темными глазами, он смотрел неподвижно перед собой и все повторял:

– Долой Бога, долой!

Дэнти с силой оттолкнула свой стул и вышла из-за стола, уронив кольцо от салфетки, которое медленно покатилося по ковру и остановилось у ножки кресла. Миссис Дедал поспешно поднялась и пошла за ней следом к двери. Но у дверей Дэнти вдруг обернулась резко и на всю комнату закричала, и щеки у нее все горели и дергались от ярости:

– Исчадие ада! Мы победили! Мы его сокрушили насмерть! Сатана!

Дверь с треском захлопнулась.

Мистер Кейси, высвободив руки от своих стражей, уронил вдруг в ладони голову и зарыдал.

– Бедный Парнелл! – громко простонал он. – Мой погибший король!

Он громко и горько рыдал.

Стивен, подняв лицо, искажившееся от ужаса, увидел, что глаза отца полны слез.

³ Парафраз ветхозаветного стиха Зах. 2: 8, ошибочно приписываемый здесь Христу.

* * *

Мальчики разговаривали, сбившись в несколько кучек.

Один сказал:

– Их поймали недалеко от Лайонс-Хилл.

– А поймал кто?

– Мистер Глисон с помощником ректора. Они ехали в экипаже.

Тот же мальчик добавил:

– Это один старшекласник мне сказал.

Флеминг спросил:

– А почему они убежали?

– Я знаю почему, – сказал Сесил Сандер. – Они деньги стащили у ректора из комнаты.

– Кто стащил-то?

– Кикема брат. А потом они поделили всё.

Но это же воровство, как они могли это сделать?

– До чего ж ты все знаешь про это, Сандер! – сказал Уэллс. – А я вот знаю, почему они смылись.

– Так скажи нам.

– А мне не велели говорить, – отвечал Уэллс.

– Да брось, Уэллс, – закричали все. – Нам-то ты можешь, мы никому не продадим.

Стивен вытянул вперед голову, чтобы все слышать. Уэллс огляделся вокруг, не идет ли кто, и заговорщически зашептал:

– Знаете про церковное вино, что хранится в шкафу в ризнице?

– Ну, знаем.

– Так вот, они его выпили, а потом открылось по запаху, кто сделал это. Поэтому вот они и сбежали, если хотите знать.

А мальчик, который говорил первым, сказал:

– Ага, и я это же самое слышал от того старшекласника.

Все замолчали. Стивен стоял среди них и слушал, но сам боялся заговорить. Смутное чувство преклонения охватывало его дрожью, лишая сил. Как они могли это сделать? Он представил себе ризницу, где стояли молчание и мрак. Там были темные деревянные шкафы, в которых покоились аккуратно сложенные плоеные стихари. Это не церковь, но все равно святое место, и там надо говорить тихим голосом. Он вспомнил, как он был там летом, тогда вечером устраивался крестный ход к маленькой часовне в лесу, и ему надо было надеть облачение ковчеженосца. Такое необычное, святое место. Мальчик, который носил кадило, слегка им покачивал туда-сюда, стоя у дверей, а чтобы угольки не гасли, серебряная крышечка придерживалась за среднюю цепочку. Те угольки назывались древесный уголь: и когда мальчик слегка раскачивал, они ровно светились и от них шел кисловатый запах. И потом, когда все уже были в облачениях, он стоял и протягивал ковчежец ректору, и ректор насыпал туда ложку ладана, который сразу зашипел на раскаленных углях.

Мальчики разговаривали, сбившись в несколько кучек там и сям на площадке. Ему сейчас казалось, что они все стали меньше ростом: это из-за того, что вчера его сшиб велосипедист, мальчик из второго класса. Велосипед его столкнул на шлаковую дорожку, и очки разбились на три части, а в рот попала зола от шлака.

Вот почему мальчики теперь казались ему меньше ростом и дальше, и штанги от футбольных ворот казались совсем тоненькими и далекими, и серое пасмурное небо было так высоко. Но на футбольном поле сейчас не было игры, потому что должен был начаться крикетный матч: и одни говорили, Барнс будет капитаном, а другие – Флауэрс. И по всей площадке

играли вкруговую, пробовали подачу и разные удары. Отовсюду в сером пасмурном воздухе доносились удары крикетных бит. Удары звучали: пик-пок-пак-пек – словно в фонтане капли воды, падающие медленно в раковину, полную до краев.

Этай, до сих пор молчавший, сказал вдруг тихо:

– А вы все неправильно говорите.

Все живо повернулись к нему.

– Почему это?

– Откуда ты знаешь?

– А тебе кто сказал?

– Давай, расскажи, Этай.

Этай указал пальцем через площадку, туда, где Саймон Мунен прохаживался один, поддавая носком камушек.

– Вот его спросите, – сказал он.

Мальчики поглядели туда и стали спрашивать:

– А почему его?

– Он тоже из тех?

– Давай, расскажи, Этай. Выкладывай, если знаешь.

Этай, понизив голос, сказал:

– Знаете, почему те мальчики смылись? Я б вам сказал, только вы ни за что не должны проговориться, что знаете.

Он помолчал немного и таинственным тоном сообщил:

– Их вечером застали в уборной вместе с Саймоном Муненом и Биваком Бойлом.

Мальчики на него уставились и спросили:

– Как это застали?

– А они что делали?

Этай сказал:

– Трухались.

Все мальчики смолкли – а Этай сказал:

– Вот они почему.

Стивен смотрел на лица товарищей, но они все смотрели через площадку. Он хотел спросить об этом кого-нибудь. Что это значило такое, насчет трухаться в уборной? Почему из-за этого пятеро старшеклассников сбежали? Это наверно шутка, подумал он. Саймон Мунен носил красивую одежду, а как-то раз вечером он показал Стивену шар со сливочными тянучками, который мальчики из футбольной команды катнули к нему по ковровой дорожке в столовой, когда он дежурил у дверей. Это было в тот вечер, когда играли против Бэктайва, и шар с виду был в точности как яблоко, красное и зеленое, только он открывался и внутри были сливочные тянучки. А Бойл однажды сказал, что у слона пара биваков, вместо того чтобы пара бивней, и его прозвали поэтому Бивак Бойл, но некоторые мальчики его еще называли Леди Бойл за то что он так следил за своими ногтями, вечно их чистил и подпиливал.

У Эйлин руки были тоже тонкие длинные белые и прохладные, потому что она девочка. Руки как слоновая кость – только мягкие. Это и значило *Баиня кости слоновой*, а протестанты этого не понимали и насмехались. Однажды они с ней стояли рядом и смотрели, что во дворе гостиницы. Там служитель поднимал на флагштоке гирлянду флажков, а по лужайке носился взад-вперед фокстерьер. Она сунула руку ему в карман, туда, где была его рука, и он почувствовал, какая рука у нее прохладная, тонкая и мягкая. Она сказала, это очень забавно, когда карманы, а потом вдруг выдернула руку и, смеясь, побежала вниз по виляющей дорожке. Ее светлые красивые волосы словно струились за ней, блестя на солнце как золото. *Баиня кости слоновой. Чертог золотой*. Вот так думаешь про вещи и начинаешь их понимать.

Но почему в уборной? Туда идешь, когда надо по нужде. Там сплошь толстые плиты из шифера, струйки воды текут постоянно из малых дырочек и стоит дурной запах затхлой воды. А в одной из кабинок на задней стороне двери рисунок красным карандашом: бородатый человек в римской тоге держит в каждой руке по кирпичу, и снизу подписано:

Балбес воздвигал стену.

Это кто-то для смеха нарисовал. Лицо не очень вышло, зато фигура бородача здорово получилась. А в другой кабинке на стене очень красивым почерком с обратным наклоном написано:

Юлий Цезарь написал Белую Галку.

Может вот поэтому они там были, потому что там некоторые пишут для смеха всякие штуки. Но все равно это что-то странное, и то что сказал Этай, и как он это сказал. А потом, какой же тут смех, раз они сбежали. И он вместе со всеми тоже уставился через площадку молча, и начал чувствовать страх.

Наконец Флеминг сказал:

– И что, нас теперь всех из-за них накажут?

– Вот увидите, я сюда не вернусь, – сказал Сесил Сандер. – В столовой молчать по три дня, а чуть что так получай шесть и восемь.

– Верно, – поддержал Уэллс. – А еще Барретт стал по-новому складывать журнал, так что уже не подглядишь, сколько тебе штрафных назначено. Я тоже не вернусь.

– А классный инспектор с утра был сегодня во втором классе, – сказал Сесил Сандер.

– Может, мы бунт устроим, – сказал Флеминг. – Давайте, а?

Все до одного промолчали. Полное молчание было в воздухе, и только доносились удары крикетных бит, более медленные, чем раньше: пик-пок.

Уэллс спросил:

– А что им будет теперь?

– Саймона Мунена с Биваком будут сечь, – ответил Этай, – а старшеклассникам дали выбор, или тоже их высекут, или исключат.

– И что они выбрали? – спросил тот мальчик, который говорил первым.

– Все, кроме Корригана, сказали, пусть исключают, – отвечал Этай. – А Корригана мистер Глисон будет сечь.

– Корриган, это тот верзила? – спросил Флеминг. – Почему так, его же на двух Глисонов хватит!

– Я знаю почему, – сказал Сесил Сандер. – Корриган выбрал правильно, а другие все нет, порка-то забудется скоро, а если кого из колледжа исключили, так это за ним потянется на всю жизнь. И потом, Глисон сильно его не будет сечь.

– На его месте ему лучше не стараться, – сказал Флеминг.

– А я б не хотел быть на месте Саймона с Биваком, – сказал Сесил Сандер. – Только вряд ли их пороть будут. Небось просто назначат по рукам, девять и девять.

– Нет-нет, – возразил Этай, – им по мягкому месту зададут, и тому, и другому.

Уэллс начал чесаться и прогнусавил плаксивым тоном:

– Сэр, смилуйтесь, отпустите!

А Этай ухмыльнулся и стал засучивать рукава курточки, приговаривая:

Теперь уж всё, попался —
Награду получай.
Штаны спускай, бедняга,
Да зад свой подставляй.

Мальчики засмеялись – но он чувствовал, что им всем немножко не по себе. Среди молчания в сером пасмурном воздухе к нему доносились с разных сторон удары крикетной биты: пок! Это звук от удара, а когда самого ударят, чувствуешь боль. Штрафная линейка тоже делает звук, только не такой. Мальчики говорят, она из китового уса, обшита кожей, а внутри свинец; и он начал думать, какая от нее боль. Какие звуки разные, такая разная бывает и боль. Трость тонкая, длинная, и звук от нее тонкий, свистящий – а вот какая от нее боль? Его пробирала дрожь и делалось холодно от таких мыслей, а еще от того, что говорил Этай. Что в этом было смешного? Его пробирала дрожь, но это потому было что всегда чувствуешь как будто дрожь когда спускаешь штанишки. Так же вот и в ванной, когда раздеваешься. Он думал: кто же им будет снимать штаны, они сами или учитель? Нет, как они могли так над этим смеяться?

Он смотрел на засученные рукава Этая и на его чернильные пальцы с выступающими костяшками. Это он засучил их показать, как мистер Глисон будет засучивать. Но у мистера Глисона круглые, поблескивающие манжеты на белых чистых запястьях и руки белые, пухлые, а на них острые, длинные ногти. Может, он тоже их подпиливает, как леди Бойл. Но они у него просто ужасно острые и длинные, эти ногти. Такие длинные, жестокие, хотя сами руки не жестокие, а ласковые, белые и пухлые. И хотя он дрожал от холода и от страха, когда думал про эти длинные, жестокие ногти, про тонкий свистящий звук тросточки, про зябкость, какую чувствуешь, раздеваясь, внизу, там, где кончается рубашка, но он чувствовал где-то внутри и странное тихое удовольствие, когда представлял эти белые и пухлые руки, чистые, сильные и ласковые. И он вспомнил, что сказал Сесил Сандер – что мистер Глисон не сильно будет сечь Корригана. А Флеминг сказал, он будет не сильно, потому что на его месте ему лучше бы не стараться. Только это не потому.

Голос на дальнем конце площадки крикнул:

– Все домой!

И другие голоса подхватили:

– Домой! Все домой!

Во время урока чистописания он сидел, сложив руки, и слушал, как кругом медленно поскрипывают перья. Мистер Харфорд прохаживался по классу и делал маленькие поправки красным карандашом, а иногда подсаживался к кому-нибудь и показывал, как надо держать перо. Стивен пробовал прочесть по буквам предложение на доске, хотя он и так знал это предложение, оно было последнее в учебнике. *Усердие без разума подобно кораблю без руля*. Но черточки в буквах стали как тоненькие невидимые нити, и всю заглавную букву целиком он только мог увидеть, если зажмурить крепко правый глаз и вглядываться сильно левым.

Но мистер Харфорд был очень добрый, он никогда не сердился. Другие учителя все ужасно сердились. Только почему они должны отвечать за тех старшеклассников? Уэллс сказал, они выпили церковное вино из шкафа в ризнице и потом их нашли по запаху. А может, они украли дароносицу, чтобы сбежать с ней и где-нибудь ее продать. Наверно, это же страшный грех, туда потихоньку забраться ночью, открыть шкаф и украсть эту золотую блестящую вещь, в которой во время благословения возлагают на алтарь Бога среди цветов и свечей, и кругом клубы ладана, потому что прислужник кадит кадилом, и Доминик Келли один за весь хор выводит начало гимна. Но уж конечно, Бог не был в ней, когда они ее утащили. Но все равно это небывалый, огромный грех даже к ней притронуться. Он думал про это с благоговейным ужасом – небывалый и страшный грех – и сердце его замирало от этих мыслей, пока он в молчании слушал легкое поскрипывание перьев. Выпить церковное вино из шкафа и чтобы потом нашли по запаху, это грех тоже, но это уж не такая страшная и небывалая вещь. Только чуть-чуть поташнивает от винного запаха. Потому что в тот день, когда он в часовне первый раз принимал святое причастие, он закрыл глаза, открыл рот и слегка высунул язык: и когда ректор наклонился, чтобы ему дать причастие, то в дыхании ректора он почуял винный запах слегка, от вина мессы. Красивое слово – вино. Представляешь себе темный пурпур, потому

что виноградные гроздья темно-пурпурные, они растут в Греции на лозах, подле домов, похожих на белые храмы. Но только из-за того винного запаха в дыхании ректора у него было чувство тошноты в день первого причастия. День первого причастия это самый счастливый день в жизни. Однажды собралось много генералов, и они спросили Наполеона, какой был самый счастливый день в его жизни. Они думали, он назовет день, когда он выиграл какое-то великое сражение или когда он стал императором, но он им сказал:

– Господа, самый счастливый день в моей жизни – день, в который я принял первое святое причастие.

Вошел отец Арнолл и начался урок латыни. Стивен по-прежнему сидел, склоняясь над партой и сложив руки. Отец Арнолл раздал тетради и сказал, что работы безобразные и все задания надо переписать еще раз, сделав все исправления. Но хуже всех была тетрадка Флеминга, в ней от кляксы даже страницы склеились – и отец Арнолл поднял ее перед всеми за уголком и сказал, что подавать такую тетрадку это оскорбление учителю. Потом он велел Джеку Лоутону просклонять существительное *mare*,⁴ а Джек Лоутон застрял на творительном падеже единственного числа и не смог даже дойти до множественного.

– Стыдно, Лоутон! – сказал отец Арнолл сурово. – Ведь ты – первый ученик!

Тогда он вызвал другого мальчика, а потом следующего и еще следующего, и никто не знал. Отец Арнолл стал какой-то очень спокойный, и когда очередной ученик пытался ответить и не мог, он становился все спокойнее. Но, хотя голос был спокойный, лицо его потемнело, а взгляд застыл. Потом он вызвал Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. И тут отец Арнолл захлопнул вдруг книгу и закричал на него:

– Стань на колени здесь, посреди класса. Такого лентяя я никогда еще не встречал. А вы все делайте задания заново.

Флеминг неуклюже вылез из-за парты и стал на колени между двумя задними скамьями. Остальные уткнулись в свои тетрадки и принялись писать. Настало молчание и, робко поглядывая на мрачное лицо отца Арнолла, Стивен увидел, что оно немного покраснело от гнева.

Грех ли это, что отец Арнолл в гнев, или это ему позволено, когда ученики ленятся, ведь они лучше тогда работают? или, может, он только делает вид, что в гнев? Наверно, ему позволено, священник же знает, что грешно, и не станет этого делать. Но если он однажды все-таки ошибется и согрешит, как он будет исповедоваться? Может быть, он пойдет на исповедь к помощнику ректора. А если помощник ректора согрешит, то пойдет к ректору – а если ректор, то к провинциалу – а если провинциал, то к генералу ордена иезуитов. Так устроен орден – и он слышал, как однажды папа сказал, что все иезуиты умные. Они бы все могли стать важными людьми в обществе, если бы не пошли в иезуиты. И он начал думать, кем бы стали отец Арнолл и Падди Барретт, и кем бы стали мистер Макглэйд и мистер Глисон, если бы не пошли в иезуиты. Про это трудно было думать, потому что надо было их представлять в каком-то другом виде, в разных сюртуках и брюках, с усами и бородами, в разнообразных шляпах.

Дверь открылась бесшумно и закрылась. По классу пробежал быстрый шепот: классный инспектор. Прошла минута гробовой тишины, а потом громко хлопнула штрафная линейка по задней парте. Сердце Стивена в страхе подпрыгнуло и упало.

– Есть тут, кто хочет порки, отец Арнолл? – крикнул классный инспектор. – Есть в этом классе прогульщики и лентяи, кто хочет порки?

Он вышел на середину класса и увидел Флеминга, стоящего на коленях.

– Ага! – крикнул он. – А это кто? Он почему на коленях? Тебя как зовут?

– Флеминг, сэр.

– Ага, Флеминг! Лентяй, конечно. По глазам вижу. Почему он на коленях, отец Арнолл?

⁴ Море (лат.).

– Он плохо выполнил задание по латыни, – сказал отец Арнолл, – и не мог ответить ни на один вопрос по грамматике.

– Конечно не мог! – крикнул инспектор. – Ясно, что не мог! Он же лентяй от роду! Я же по одному уголку глаза вижу.

Он стукнул своей линейкой по парте и закричал:

– Вставай, Флеминг! Живо!

Флеминг медленно поднялся с колен.

– Руку сюда!

Флеминг протянул руку. Линейка хлестнула громко и звучно: один раз, два, три, четыре, пять, шесть.

– Другую руку!

Линейка отсчитала снова шесть громких хлестких ударов.

– Вставай на колени! – крикнул инспектор.

Флеминг стал на колени, пряча кисти под мышками. Лицо его искривилось от боли, но Стивен знал, какие у него твердые кисти, Флеминг вечно их натирал смолой, хотя наверно ему правда было ужасно больно, удары были ведь жутко громкие. Сердце у Стивена трепыхалось и замирало.

– Все за работу, все! – прокричал инспектор. – Нам тут не надо прогульщиков и лентяев, маленьких ленивых обманщиков. Я сказал, за работу! Отец Долан каждый день будет к вам приходить. Отец Долан завтра придет!

Он ткнул линейкой в одного мальчика в боковом ряду.

– Вот ты! Когда отец Долан следующий раз придет?

– Завтра, сэр, – ответил голос Тома Ферлонга.

– Завтра, и завтра, и еще завтра, – сказал инспектор. – Зарубите это себе. Отец Долан – каждый день. А сейчас чтобы все писали. А ты, мальчик, что, как фамилия?

Сердце Стивена резко подпрыгнуло.

– Дедал, сэр.

– Ты почему не пишешь со всеми?

– Я... я свои...

Он не мог говорить от страха.

– Почему он не пишет, отец Арнолл?

– Он разбил очки, – сказал отец Арнолл, – и я его освободил от письма.

– Разбил? Это что такое я слышу? Как там твоя фамилия? – спросил инспектор.

– Дедал, сэр.

– Выйди сюда, Дедал. Ленивый обманщик. Я по лицу твоему обманщика вижу. Где это ты разбил очки?

Стивен, от страха почти вслепую, торопясь, спотыкаясь, вышел на середину класса.

– Так где это ты разбил очки? – повторил инспектор.

– На гаревой дорожке, сэр.

– Ага! Гаревая дорожка! – крикнул инспектор. – Знаю я этот трюк.

Стивен поднял от удивления глаза и на минуту увидел немолодое серо-белесое лицо отца Долана, лысый серо-белесый череп с пухом по бокам, стальную оправу очков и никакого цвета глаза, глядящие сквозь стекла. Почему он сказал, что он знает этот трюк?

– Ленивый прогульщик! – кричал инспектор. – Я очки разбил! Известный ваш трюк! Сию минуту руку сюда!

Стивен закрыл глаза и протянул в воздухе свою дрожащую руку, ладонью вверх. Он почувствовал, как инспектор взял ладонь и распрямил на ней пальцы, потом услышал шелест рукава сутаны, когда линейка взметнулась для удара. Режущий жалящий обжигающий раздражающий удар, с громким звуком, как будто переломили палку, заставил его дрожащую руку

скрючиться как листок на огне, и с этим звуком, с этой болью на глаза его навернулись жгучие слезы. Все его тело сотрясилось от ужаса, рука тряслась, а скрючившаяся горящая багровая кисть трепыхалась в воздухе как оторванный листок. Его губы готовы были испустить вопль, мольбу, чтобы его отпустили. Но хотя слезы обжигали ему глаза, а все члены мелко дрожали от боли и от страха, он сдержал и жгучие слезы, и вопль, который обжигал горло.

– Другую руку! – крикнул инспектор.

Стивен опустил правую руку, покалеченную, дрожащую, и протянул левую. Снова шелестел рукав сутаны, когда взметнулась линейка, и громкий трескучий звук, а за ним резкая жалящая раздражающая безумная боль заставила его ладонь вместе с пальцами сжаться в один трясущийся багровый комок. Жгучая влага брызнула из его глаз и, сгорая от стыда, страдания, страха, он в ужасе отдернул свою дрожащую руку и застонал. Все тело пронизала судорога страха, и со стыдом, с отчаянием он почувствовал, как из горла у него вырвался обжигающий вопль, а из глаз по пылающим щекам текут обжигающие слезы.

– На колени! – крикнул классный инспектор.

Стивен поспешно стал на колени, прижимая к бокам своим избитые руки. Он представил эти руки, избитые, распухшие сразу же от боли, и его охватила жалость к ним, такая, словно это и не были его собственные руки, а были чьи-то еще. И, стоя на коленях, подавляя в горле последние рыдания и чувствуя прижавшуюся к бокам жалящую и режущую боль, он думал про те руки, что он протянул в воздухе ладонями вверх, про твердое прикосновение инспектора, распрямившее дрожавшие пальцы, и про избитый, распухший и багровый комок из пальцев и ладони, жалко трепыхавшийся в воздухе.

– Все принимайтесь за работу! – уже из дверей крикнул инспектор. – Отец Долан каждый день будет проверять, не требуется ли тут порка какому-нибудь лентяю. Запомните – каждый день!

Дверь за ним затворилась.

Притихшие ученики продолжали переписывать упражнения. Отец Арнолл поднялся и начал ходить по классу, мягким голосом подбадривая учеников и помогая им исправлять ошибки. Голос у него был очень мягкий и ласковый. Потом он вернулся за свой стол и сказал Флемингу и Стивену:

– Вы оба можете сесть на свои места.

Флеминг и Стивен встали и, пройдя к своим местам, сели за парты. Стивен, весь красный от стыда, одной слабой рукой быстро открыл учебник и склонился над ним, уткнувшись низко в страницу.

Это было несправедливо и жестоко, потому что доктор не велел ему читать без очков и утром он уже написал домой папе, чтобы тот прислал бы другую пару. И отец Арнолл сказал ведь, что он может не заниматься, пока не пришлют новые очки. И потом, если тебя перед всем классом называли обманщиком и наказали, а ты до этого получал всегда место первого или второго и еще считался вождем Йорков! И как инспектор мог знать, что это трюк? Он ощутил пальцы инспектора, когда тот ему распрямлял ладонь, и сперва решил, что тот ему пожимает руку, потому что пальцы были мягкие и крепкие – но потом почти тут же услышал шелест рукава сутаны и – рраз! Потом несправедливо и жестоко было ставить его на колени посреди класса – а еще отец Арнолл им обоим сказал, что они могут сесть на свои места, как будто не было никакой разницы между ними. Он слышал тихий ласковый голос отца Арнолла, помогающего ученикам. Может быть, сейчас он жалеет и старается быть добрым. Только все равно это несправедливо и жестоко. Хотя инспектор – священник, а все равно это жестоко и несправедливо. И жестокими были его серо-белесое лицо и никакого цвета глаза за очками в стальной оправе, потому что для того он своими мягкими крепкими пальцами сперва расправил ему ладонь, чтобы удар вышел сильнее и громче.

– Это самая гадостная подлянка, вот это что, – сказал Флеминг, когда все классы тянулись шеренгой по коридору в столовую, – бить парня за то, в чем он не виноват.

– Ты ж не нарочно разбил очки, правда? – спросил Крыса Роуч.

Стивен переживал слова Флеминга, которые вошли ему прямо в сердце, и не ответил.

– Ясное дело, не нарочно! – сказал Флеминг. – Я б этого не потерпел. Пошел бы и пожаловался на него ректору.

– Да, – с жаром подхватил Сесил Сандер, – а я еще видел, он линейку заносит выше плеча, так запрещается бить.

– Очень рукам-то больно? – спросил Крыса Роуч.

– Ужасно больно, – ответил Стивен.

– Я бы не потерпел, – повторил Флеминг, – ни от Плешивки и ни от какого другого Плешивки. Подлый гадостный трюк, вот это что. Я прямо бы после ужина пошел к ректору и все ему рассказал.

– Так и надо. Да, так и надо, – сказал Сесил Сандер.

– Так и надо. Иди и пожалуйся ректору, Дедал, – сказал Крыса Роуч, – а то ведь он сказал, что завтра опять придет тебя бить.

– Да, да, пойди к ректору, – заговорили все.

Это всё слышали бывшие рядом второклассники, и один из них объявил:

– Сенат и римский народ решили, что Дедал был наказан незаслуженно.

Это было незаслуженно, и это было несправедливо, жестоко – и сидя в столовой, он то и дело в памяти снова переживал свое унижение, пока не начал наконец думать, что может быть в лице у него есть правда что-то такое, почему он выглядит как обманщик, и тут он пожалел, что нет маленького зеркальца, чтобы поглядеть и проверить. Но нет, такого не могло быть. Это было нечестно, жестоко, несправедливо.

Он не мог есть черноватые ломти рыбы, которые им давали по средам в Великий пост, а на одной из картофелин была отметина от лопаты. Да, он сделает, как сказали мальчики. Пойдет и скажет ректору, что его незаслуженно наказали. Так раньше уже поступил кто-то в истории, какой-то великий человек, его портрет есть в учебнике. И ректор объявит, что он был наказан незаслуженно, потому что сенат и римский народ всегда объявляли, что тот, кто так поступил, был наказан незаслуженно. Это были те великие люди, имена которых стояли в вопроснике Ричмэл Мэгнолл. История вся про таких людей и про их деяния, и про это же рассказы о Греции и Риме Питера Парли. Там на первой странице нарисован и сам Питер Парли. На картинке была дорога через пустынную равнину, по бокам дороги трава и кустики, и Питер Парли в широкополой шляпе, как у протестантского пастора, с большим посохом, спешил по ней в Грецию и в Рим.

Это же легко, то, что он должен сделать. Все, что надо, это когда ужин кончится и он со всеми будет в шеренге выходить – пойти не по коридору, а направо и вверх по лестнице, что ведет в замок. Ничего больше не надо: свернуть направо, подняться быстро по лестнице – и уже через полминуты будешь в узком, низеньком темном коридорчике, что ведет через замок к комнате ректора. Все мальчики говорили, это несправедливо, даже тот второклассник, который сказал про сенат и римский народ.

Что сейчас будет? Он услышал, как старшеклассники в глубине столовой поднялись из-за стола, потом услышал, как они зашагали по ковровой дорожке: Падди Рэт, Джимми Маги, испанец, португалец, а пятым шел верзила Корриган, которого будет сечь мистер Глисон. Вот почему инспектор назвал его обманщиком и побил ни за что: и, напрягая близорукие заплаканные глаза, он смотрел на широкую спину и большую черную понурую голову верзилы Корригана, который шагал в шеренге. Но он же натворил что-то, и потом мистер Глисон его не будет сечь сильно. Он вспомнил, каким большущим Корриган ему показался в ванной. У него кожа была такого же торфяного цвета как болотистая вода на мелком конце бассейна, а когда

он шел вдоль бассейна, то при каждом шаге его ступни громко шлепали по мокрой плитке, а бедра колыхались слегка, потому что он был толстый.

Столовая уже наполовину опустела, и мальчики продолжали шеренгой выходить. По лестнице-то пойти можно, там дальше за дверями никогда ни священников, ни надзирателей. Только он не сможет пойти. Ректор станет на сторону инспектора, решит, что это был его трюк, и тогда инспектор все равно будет приходить каждый день, только станет еще хуже, потому что он жутко обозлится на того, кто на него ходил жаловаться ректору. Мальчики ему сказали, чтобы он шел, а сами-то бы они не пошли. Они уже забыли про все. Нет, самое лучшее это про все забыть, а инспектор, может быть, только так сказал, что придет. Нет, самое лучшее это просто не попадаться на глаза, потому что когда ты маленький и младше других, то часто так и можно отделаться.

Его стол поднялся. Он тоже поднялся и зашагал со всеми в шеренге. Надо решать. Уже совсем близко дверь. Если он пойдет с мальчиками, то уже никак не попадет к ректору, потому что с площадки не удастся уйти. А если он пойдет, а потом все равно его накажут, все мальчики его засмеют и будут рассказывать, как малыш Дедал ходил к ректору жаловаться на классного инспектора.

Он ступал по ковровой дорожке, глядя на дверь перед собой. Это же невозможно, он не сможет. Он вспомнил плешивую голову инспектора, его жестокие никакого цвета глаза, глядящие на него, и услышал инспекторский голос, который дважды спросил, как его фамилия. Почему он с первого раза не запомнил фамилию? Не расслышал или же хотел понасмехаться над ней? У великих людей в истории бывали похожие фамилии и никто над ними не насмехался. Если он хотел насмехаться, так лучше бы насмехался над своей собственной фамилией. Долан: фамилия для какой-нибудь прачки.

Он подошел к двери и, повернув быстро направо, поднялся по лестнице; прежде чем ум его мог приказать ему вернуться обратно, он уже был в узком низеньком темном коридорчике, ведущем в замок. И когда перешагивал порог в коридор, то, не поворачивая головы, видел, как все мальчики, проходящие в шеренге, глядят ему вслед.

Он шел по узкому темному коридору, минуя маленькие двери, за которыми были кельи общины. Он вглядывался в полумраке вперед и по сторонам, помня, что тут должны быть портреты. Кругом было темно и безмолвно, и своими близорукими заплаканными глазами он ничего не мог видеть. Но он помнил, что тут были портреты святых и великих деятелей ордена, и думал, что сейчас они смотрят безмолвно на него: святой Игнатий Лойола держит раскрытую книгу и указывает перстом на слова *Ad Majorem Dei Gloriam*,⁵ святой Франциск Ксаверий указывает на свою грудь, Лоренцо Риччи в берете на голове, как у одного из старост классов, и три святых покровителя отроков, святой Станислав Костка, святой Алоизий Гонзага и блаженный Иоанн Берхманс, все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми, и отец Питер Кенни в креслах, закутанный в широкий плащ.

Он вышел на площадку над вестибюлем и огляделся кругом. Это здесь проходил Гамильтон Роуэн, и здесь остались следы от солдатских пуль. И здесь старые слуги видели призрак маршала в белом одеянии.

Один старый слуга в конце площадки подметал пол. Он спросил у него, где комната ректора, и тот показал ему дверь в противоположном конце и смотрел вслед ему, пока он подходил к двери и стучал.

Никто не ответил на стук. Он постучал погромче, и сердце его подпрыгнуло, когда послышался приглушенный голос:

– Войдите!

⁵ К вящей славе Божией (*лат.*) – девиз иезуитского ордена.

Повернув ручку, он открыл дверь и закопошился в поисках ручки внутренней двери, обитой зеленой бязью. Найдя ее, он толкнул дверь и вошел.

Перед ним был ректор, он сидел за письменным столом и писал. На столе лежал череп, и в комнате был какой-то странный и торжественный запах, как от старых кожаных кресел.

Сердце у него сильно билось от того, что он был в таком торжественном месте, и от царившей в комнате тишины. Он глянул на череп; потом на приветливое лицо ректора.

– Ну что же, малыш, – сказал ректор, – что случилось?

Стивен сглотнул комок в горле и сказал:

– Я разбил очки, сэр.

Ректор открыл рот и произнес:

– О!

Потом он улыбнулся и сказал:

– Что же, раз мы разбили очки, нам придется попросить новые из дома.

– Я написал домой, сэр, – сказал Стивен, – и отец Арнолл мне сказал, я не должен заниматься, пока новые не пришлют.

– Совершенно правильно! – сказал ректор.

Стивен снова сглотнул комок, стараясь удержать дрожь в голосе и в ногах.

– Но, сэр...

– Но что же?

– Отец Долан пришел сегодня и побил меня линейкой за то, что я не писал упражнения.

Ректор молча посмотрел на него, и он почувствовал, как к лицу его прилила кровь, а к глазам подступили слезы.

Ректор сказал:

– Твоя фамилия Дедал, верно?

– Да, сэр.

– И как это ты разбил очки?

– На гаревой дорожке, сэр. Один мальчик выезжал из велосипедного гаража, я упал, и они разбились. Я не знаю, как этого мальчика зовут.

Ректор опять молча посмотрел на него, а потом улыбнулся и сказал:

– Ну, значит вышло недоразумение, я уверен, что отец Долан просто не знал.

– Но я ему сказал, что они разбились, а он наказал меня.

– А ты сказал ему, что ты написал домой про новую пару? – спросил ректор.

– Нет, сэр.

– Ну, тогда ясно, – сказал ректор. – Отец Долан просто не понял. Ты можешь сказать, что я сам освободил тебя от занятий на ближайшие дни.

Стивен добавил быстро, боясь, что дрожь вот-вот не даст ему говорить:

– Да, сэр, но отец Долан сказал, он придет завтра и меня снова побьет.

– Понятно, – сказал ректор, – это недоразумение, и я сам поговорю с отцом Доланом. Как, хватит этого?

Стивен, ощущая, как слезы выступили на глазах, прошептал:

– О да, спасибо, сэр.

Ректор протянул ему руку через стол, с той стороны, где был череп, и Стивен, вложив на секунду свою руку в его, почувствовал влажную и прохладную ладонь.

– На этом до свидания, – произнес ректор, отнимая руку и кивая ему.

– До свидания, сэр, – ответил Стивен.

Он поклонился и тихо вышел из комнаты, медленно и старательно закрывая за собой двери.

Но, когда он миновал старого слугу на площадке и был снова в узком низеньком темном коридоре, шаг его делался все быстрее. Быстрее и быстрее, спешил он сквозь полумрак в воз-

буждении. В торце он стукнулся о дверь локтем, сбежал вниз по лестнице, промахнул живо через два коридора и – вдохнул вольный воздух.

С площадок доносились крики играющих. Он пустился бежать, все ускоряя и ускоряя свой бег, пересек гаревую дорожку и, уже задыхаясь, достиг площадки своего класса.

Мальчики видели, как он бежал. Они обступили его кольцом, отталкивая друг друга, чтобы лучше слышать.

– Рассказывай! Рассказывай!

– Что он сказал?

– Ты так и вошел к нему?

– Что он сказал?

– Рассказывай! Рассказывай!

Он рассказал им, что он говорил и что сказал ректор, и когда он рассказал все, то они все как один запустили свои фуражки в небо и завопили:

– Урра!

Поймав фуражки, они снова их запустили высоко-высоко, так чтоб они крутились, и снова завопили:

– Урра! Урра!

Потом они сделали сиденье, сплетя руки, усадили его туда и таскали до тех пор, пока он не стал вырываться на свободу. А когда он от них вырвался и убежал, они сами разбежались во все стороны, опять швыряя в воздух фуражки, так чтоб крутились, и свистя, и вопя:

– Урра!

А потом они издали тройной хрюк в честь Плешивки Долана и тройное ура в честь Конми и провозгласили его самым лучшим ректором в Клонгоузе за все времена.

Крики мальчиков замерли в сером пасмурном небе. Он был один. Он был свободен и счастлив – но он бы все равно не стал задаваться перед отцом Доланом. Он был бы самым спокойным и послушным; и ему захотелось, чтобы он мог сделать ему что-то хорошее и показать этим, что он вовсе не задается.

Воздух был мягким, пасмурным, серым, близился вечер. Вечерний запах носился в воздухе – запах деревенских полей, на которых они с мальчиками выкапывали репу, очищали тут же и ели, когда шли на прогулку к усадьбе майора Бартона, и запах, шедший из рощицы за беседкой, где росли чернильные орешки.

Мальчики упражнялись в разных видах бросков. В мягком сером безмолвии до него доносился глухой стук: и то с одной, то с другой стороны в тихом воздухе слышались удары крикетных бит: пик-пок-пак-пек – словно в фонтане капли воды, мягко падающие в раковину, полную до краев.

Глава II

Дядя Чарльз смолил этакое злое зелье, что племянник в конце концов предложил ему наслаждаться утренней трубочкой на задах сада, в небольшом сарайчике.

– Отлично, Саймон. Все чудесно, Саймон, – отвечал безмятежно старый джентльмен. – Где скажешь. Сарайчик прекрасно мне подойдет – это полезнее для здоровья.

– Черт побери, я просто не понимаю, – откровенно выразился мистер Дедал, – как вы курите этот премерзостный табачище. Клянусь, он у вас крепче пороха!

– Прекрасная вещь, Саймон, – не согласился старый джентльмен. – Очень смягчит и освежает.

Итак, каждое утро дядя Чарльз направлялся в свой сарайчик, перед этим никогда не забыв тщательно смазать и расчесать волосы на затылке и водрузить на голову вычищенный цилиндр. Все время его курения можно было наблюдать поля его цилиндра и головку его трубки, выдающиеся из-за косяка двери сарайчика. Его беседка – так он именовал затхлый сарайчик, который делили с ним кошка и садовый инструмент, – служила ему также в качестве звуковой студии: ежеутренне он там негромко напевал в свое удовольствие какую-нибудь из своих любимых песен: «Устрой мне мирную обитель», или «Голубые очи, кудри золотые», или же «Рощи Бларни» – а серые и голубые кольца дыма из его трубки меж тем медленно поднимались и таяли в ясном воздухе.

Всю первую половину лета в Блэкроке дядя Чарльз был неизменным спутником Стивена. То был крепкий старый джентльмен с темным загаром, резкими чертами лица и белыми баками. По будням его миссией было передавать заказы из дома на Кэрисфорт-авеню в те лавки на главной улице городка, из которых снабжалось семейство. Стивен любил с ним быть в этих странствиях, потому что дядя Чарльз в любой лавке широко угощал его всем тем, что только бывало выставлено в открытых ящиках или бочках. Ухватив кисть винограда вместе с опилками или штуки три яблок, он щедро вручал их внучатому племяннику, меж тем как хозяин кисло улыбался; а когда Стивен делал вид, что не хочет брать, он хмурился грозно и командовал:

– Немедленно взять, сэр, вы меня слышите? Это полезно для вашего желудка.

Когда все заказы по списку бывали сделаны, двое направлялись в парк, где на скамейке обретался уже поджидающий их Майк Флинн, старый приятель отца Стивена. Начиналась пробежка Стивена вокруг парка. Майк Флинн с часами в руке становился у того выхода, что к станции, и Стивен должен был пробежать круг по всем правилам, как он требовал: с поднятой головой, высоко поднимая колени и руки держа плотно прижатыми к бокам. Когда утренняя тренировка заканчивалась, тренер делал ему замечания и иногда показывал, комично шаркая пару ярдов в старых синих парусиновых туфлях. Вокруг собиралась кучка изумленно глазющих детей и нянек, которые не расходились даже тогда, когда он уже снова усаживался на скамейку, и они с дядей Чарльзом начинали рассуждать о спорте и о политике. Хотя папа и говорил, что из рук Майка Флинна вышли лучшие современные бегуны, Стивен не раз бросал недоверчивый взгляд на дряблое и в щетине лицо своего тренера, склонившееся над длинными пальцами в желтых пятнах, которые свертывали самокрутку, и с жалостью смотрел на кроткие выцветшие голубые глаза, которые вдруг, отвлекшись беспричинно от дела, рассеянно устремлялись в голубую даль, меж тем как пальцы, длинные и распухшие, бросали работу и табачные волокна и крошки сыпались обратно в кисет.

На обратном пути домой дядя Чарльз нередко заходил в церковь, и так как Стивен не доставал до чаши, то он, окунув руку, резкими движениями кропил одежду Стивена и пол паперти. Молясь, он становился на колени, подстелив красный носовой платок, и громким шепотом читал по замусоленному до черноты молитвеннику, в котором под каждой страницей

напечатаны были ключевые слова. Стивен не разделял его набожности, но из уважения к ней тоже вставал на колени рядом. Он часто раздумывал, о чем же с таким усердием молится дядя Чарльз. Может быть, за души в чистилище или за дарование блаженной кончины, а может, за то, чтобы Бог ему возвратил хотя бы частичку из тех богатств, которые он растратил в Корке.

По воскресеньям, как закон, Стивен с отцом и двоюродным дедом предпринимали прогулку. Старик был резвый ходок, несмотря на свои мозоли, и нередко они выхаживали десять-двенадцать миль. У маленькой деревушки Стиллорган происходил выбор маршрута. Они либо сворачивали налево в сторону Дублинских гор, либо шли на Готстаун, а потом в Дандрам, и через Сэндифорд возвращались домой. Шагая по дороге или делая передышку в грязном трактирчике, старшие без конца вели разговоры на свои любимые темы, об ирландской политике, о Манстере и о семейных преданиях. Стивен жадно прислушивался ко всему. Непонятные слова он множество раз повторял про себя и так заучивал наизусть – и они приоткрывали ему настоящий мир, который его окружал. Ему казалось, близится уже час, когда он тоже вступит участником в жизнь этого мира, и втайне он начинал готовиться к великому жребию, который был назначен ему: он чувствовал так, но еще смутно представлял суть этого жребия.

Вечерами, когда он был предоставлен себе, он погружался в потрепанный перевод «Графа Монте-Кристо». В образе этого мрачного мстителя для него воплощалось все непонятное и страшное, о чем он слышал или догадывался в детстве. На столе в гостиной он строил дивную пещеру на острове, пуская в дело переводные картинки, бумажные цветы, бумажные разноцветные салфетки, кусочки золотой и серебряной фольги от шоколада. Когда эта мишура ему надоела и он разрушил сооружение, его ум стали посещать яркие видения Марселя, садовой ограды, залитой солнцем, и Мерседес. За Блэкроком, на дороге, ведущей в горы, стоял небольшой белый домик, окруженный садом, где росло множество роз. В этом домике – так он говорил себе – жила другая Мерседес. Шел ли он из дома или возвращался домой, он всегда отсчитывал расстояние от этой точки. В мечтах он переживал цепь многих приключений, таких же чудесных как в романе, и к концу в его воображении всегда являлся он сам, ставший старше, ставший печальней; он стоял с Мерседес в саду, озаренном луной, с Мерседес, которая много лет назад презрела его любовь – и с гордым, печальным жестом отказа он говорил:

– Мадам, я не ем мускатного винограда.

Он нашел себе приятеля, мальчугана по имени Обри Миллс, и они вместе сколотили на своей улице компанию искателей приключений. Обри ходил со свистком, который у него болтался в петлице, и с велосипедным фонарем, приложенным к поясу; у остальных за пояс были заткнуты короткие палки наподобие кинжалов. Стивен, прочитав где-то, как просто одевался Наполеон, решил ничем не украшать своего наряда, и от этого ему еще больше нравилось держать военный совет со своим подручным, прежде чем дать приказ. Компания делала набеги на сады старых дев или, спустившись к замку, устраивала сражение на скалах, покрытых космами водорослей; а вечером они плелись по домам как усталые бродяги, пропитавшись гнилыми запахами береговой полосы, неся в волосах и на руках следы маслянистой слизи от водорослей.

У Обри и Стивена был один и тот же молочник, и они часто ездили с ним на его фургоне в Каррикмайнс, где выпасали коров. Покуда шла дойка, мальчуганы по очереди катались вокруг пастбища на смирной кобыле. Однако с началом осени коров забрали с пастбища, и первое же зрелище вонючего скотного двора в Стрэдбруке, с мерзкими зелеными лужами, кучами жидкого навоза, испарениями от кормушек с отрубями, вызвало у Стивена тошноту. Животные, которые на воле в солнечный день казались такими красивыми, стали для него отвратительны, и он не мог даже смотреть на их молоко.

С началом сентября его в этом году не тревожили, потому что он не возвращался в Клонгоуз. Тренировки в парке прекратились, когда Майк Флинн лег в больницу. Обри ходил в школу и теперь мог гулять только час или два по вечерам. Компания распалась, больше не было ни вечерних набегов, ни сражений на скалах. Иногда Стивен ездил с молочником на его

фургоне развозить вечерний удой; в этих поездках по зябкому холодку воспоминания о вони на скотном дворе развеялись, и ему уже не было противно, когда на одежде молочника он замечал клочки сена или коровьей шерсти. Когда фургон останавливался у дома, он не упускал бросить взгляд в чистенькую кухню или мягко освещенную переднюю и посмотреть, как служанка держит кувшин, а потом затворяет дверь. Он думал о том, что если иметь теплые рукавицы и большой запас мятных пряников, то ездить по дорогам и развозить каждый вечер молоко – вполне приятное занятие в жизни. Но то же предведение, от которого во время пробежек в парке у него сжималось сердце, а ноги подкашивались внезапно, то же смутное чувство, что заставляло его недоверчиво смотреть на дряблое и в щетине лицо его тренера, тяжело свесившееся над длинными в пятнах пальцами, прогоняло все образы будущего. Он смутно понимал, что у отца какие-то неприятности, и именно из-за этого его самого не отправили обратно в Клонгоуз. С некоторых пор он замечал в доме небольшие перемены, и каждая из таких перемен, изменяя то, что, казалось ему, не может меняться, была небольшим ударом по его детскому представлению о мире. Честолюбивые стремления, что иногда, он чувствовал, загорались во мраке его души, не искали для себя выхода. Когда он слушал цоканье лошадиных копыт по трамвайной линии на Рок-роуд и громыханье огромной фляги у себя за спиной, сумерки, такие же как и в мире вокруг, обволакивали его ум.

Он снова вернулся к Мерседес, и ее образ, пребывая подолгу в его мыслях, будил у него странное беспокойство в крови. Порой его охватывала какая-то лихорадка, которая гнала его вечерами бродить в одиночестве по тихим улицам. Мирные сады, приветливый свет в окнах смягчали смятение и беспокойство. Шумно играющие дети раздражали его, и глупые крики их заставляли чувствовать, еще острее, чем в Клонгоузе, что он не такой, как они. Играть ему не хотелось. Ему хотелось встретить в реальном мире тот невещественный образ, который так постоянно представлялся ему в душе. Он не ведал ни как, ни где надо искать его – однако его вело предчувствие, которое говорило, что этот образ однажды предстанет перед ним без всяких его усилий. Они встретятся спокойно и просто, как будто уже знали друг друга и условились о встрече, быть может, вот у этих ворот или в каком-нибудь более потайном месте. Они будут одни, окруженные молчанием и темнотой, – и в этот миг несказанной нежности с ним свершится преображение. На ее глазах он растает в нечто неосязаемое – а затем вдруг, в один миг, он преобразится. И в этот волшебный миг вся его робость, слабость, неопытность спадет с него.

* * *

Однажды утром у их дверей остановились два больших желтых фургона, и в дом топтали люди, чтобы опустошить его. Мебель таскали через палисадник, усеяв его соломой и обрывками веревок, и грузили в фуруны. Когда все было надежно увязано, фуруны с грохотом покатали по улице; и из окна железнодорожного вагона, где он сидел подле матери с красными глазами, Стивен видел, как они тяжело громыхают по Меррион-роуд.

В тот вечер камин в гостиной никак не разгорался, и мистер Дедал пристроил кочергу к прутьям решетки, чтобы пламя стало сильнее. Дядя Чарльз дремал в углу комнаты с остатками мебели и без ковра, и возле него были семейные портреты, прислоненные к стенке. Настольная лампа слабо освещала дощатый пол, затоптанный сапогами грузчиков. Стивен сидел рядом с отцом на скамеечке, слушая его бессвязную и бесконечную речь. Сперва он почти совсем ничего не понимал, но медленно до него стало доходить, что у отца есть враги и что предстоит какая-то борьба. Также до него дошло, что и его призывают на эту борьбу, на его плечи ложится какой-то долг. Внезапный обрыв мечтательной и удобной жизни в Блэкроке, переезд через унылый город в тумане, мысли о голом и мрачном помещении, в котором им теперь жить, давили грузом на его сердце: и вновь его посетило некое предведение или предчувствие буду-

щего. Он понял и то, почему теперь служанки часто между собой перешептывались в передней и почему теперь часто отец, стоя на коврике у камина спиной к огню, громким голосом что-то толковал дяде Чарльзу, а тот его уговаривал успокоиться и поужинать.

– Еще осталась во мне щепоть пороку, Стивен-старина, – говорил мистер Дедал, шуруя яростно кочергой в полупотухшем камине. – Мы еще не отдали концы, сынишка. Нет уж, черт поberi (да простит мне Бог), мы их и не думаем отдавать.

Дублин был новым и сложным впечатлением. Дядя Чарльз стал плохо соображать, его нельзя уже было посылать с поручениями, и в путанице хлопот по устройству на новом месте у Стивена оказалось больше свободы, чем в Блэкроке. Вначале он удовлетворялся тем, что робко бродил по соседней площади или, набравшись храбрости, доходил до середины какого-нибудь переулочка; но потом, составив постепенно в уме схему города, он отважно пускался по одной из центральных улиц, достигая таможни. Без всяких помех он разгуливал в доках и по набережным, дивясь на целые стада поплавков, покачивающихся среди густой грязно-желтой пены, на толпы портовых грузчиков, громыхающие подводы и неряшливо одетого бородатого полисмена. Тюки товаров, сложенные вдоль стен или вышвыриваемые из паровых трюмов, говорили ему о необозримости и странности жизни, и это снова будило в нем то самое беспокойство, что раньше заставляло его вечерами бродить от одного сада к другому в поисках Мерседес. Среди царившего оживления он мог бы вообразить себя в каком-то другом Марселе, но все же для этого недоставало яркого неба и винных погребков с нагретыми от солнца решетками окон. Когда он смотрел на набережные, на реку и на низко нависшее небо, в нем поднималась смутная неудовлетворенность, но он продолжал и продолжал свои блуждания по городу, как будто и впрямь искал кого-то, кто ускользал от него.

Раза два он ходил с матерью в гости к родственникам – и хотя они проходили веселыми яркими рядами лавок, расцвеченных и разукрашенных к Рождеству, его не покидало состояние замкнутости и горечи. Причин горечи было много, они находились и далеко и совсем рядом. Он досадовал на себя, что еще так мал, что поддается глупым неумным порывам, досадовал на изменчивость судьбы, из-за которой мир, где он жил, превращался в зрелище нищеты и фальши. Однако его досада не искажала этого зрелища. Он прилежно отмечал все, что видел, отделяя себя от этого и тайком опробуя его мертвящий вкус.

Он сидел на табуретке в кухне у своей тетушки. Разложив на коленях вечернюю газету, тетушка читала ее при свете лампы с рефлектором, висящей на покрытой лаком стене над камином. Остановив долгий взгляд на улыбающемся изображении, она сказала задумчиво:

– Красавица Мейбл Хантер!

Девочка с кудряшками привстала на цыпочки и, поглядев на изображение, спросила кротко:

– Мамочка, а это она в какой пьесе?

– Это в пантомиме, миленькая.

Головка с кудряшками прильнула к материнской руке, и, не отрывая глаз от картинки, девочка словно замороженная прошептала:

– Красавица Мейбл Хантер!

Словно замороженные, ее глаза не могли оторваться от лукаво улыбающихся глаз той, и она в восхищении шептала:

– Какая же она прелесть.

Мальчик, который вошел с улицы, неуклюже ступая с ношей угля, услышал эти слова. Проворно опустив свой груз на пол, он подбежал тоже посмотреть. Она, однако, не подвинула свою безмятежную головку, чтобы он мог увидеть. Пытаясь отодвинуть ее, жалуясь, что ему не видно, мальчик тянет и мнет газету покрасневшими и вычерненными руками.

Он сидит в узкой столовой на верхнем этаже старого темнооконного дома. На стене пляшут отблески огня, за окном над рекой опускаются призрачные сумерки. Старушка у камина

готовит чай и, занятая своим делом, тихо рассказывает, что сказал доктор и что священник. Еще она говорит, какие в последнее время она заметила изменения у нее, какие странности в разговоре и в поведении. Он выслушивает слова, а мыслями он на тех тропах приключений, что открываются в углях очага, там арки и своды, извилистые галереи, изрезанные пещеры.

Внезапно он чувствует какое-то движение в тамбуре. Возникает череп, зависший в сумраке тамбура. Там хрупкое существо, похожее на обезьяну, которое привлекли звуки голосов. Жалобный голос от двери спрашивает:

– Это Жозефина?

Старушка, хлопочущая у камина, весело откликается:

– Да нет, Элин, это Стивен.

– А... Добрый вечер, Стивен.

Он отвечает на приветствие и видит, как по лицу в тамбуре разливается бессмысленная улыбка.

– Тебе что-нибудь нужно, Элин? – спрашивает старушка.

Но та, вместо ответа на вопрос, говорит:

– А я думала, это Жозефина. Я думала, что ты это Жозефина, Стивен.

И, повторив это несколько раз, она разражается хрупким смехом.

Он сидит на детском празднике в Хэролдс-Кросс. Как с ним бывает, он насторожен и молчалив, почти не участвует в общих играх. Детишки достали бумажные шляпы из своих хлопушек, надели их, шумно пляшут и прыгают, и хотя он старается разделять их веселье, но все равно чувствует себя унылой фигурой среди ярких треуголок и капоров.

Однако потом он спел свою песенку, уселся в уютном уголку и начал находить радость в своем одиночестве. Окружающее веселье, которое сначала казалось ему ненастоящим и глупым, действует словно мягкий ветерок, который, весело пробегая по его чувствам, скрывает от глаз других лихорадочное волнение в крови, когда сквозь хороводы танцующих, звуки смеха и музыки, в его уголок направляется ее взгляд, ласковый и пытливый, дразнящий и волнующий сердце.

Праздник окончен: в передней одеваются последние расходящиеся дети. Она накинула шаль, и, когда они вместе направляются к конке, пар от ее свежего теплого дыхания клубится весело над ее закутанной головой, а башмачки задорно пристукивают по замерзшей дороге.

Рейс был последний. Гнедые облезлые лошадки знали это и потряхивали бубенчиками, в ясную ночь посылая вразумление о том. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба то и дело кивали головами в зеленом свете фонаря. На пустых сиденьях там и сям валялись цветные билетки. Никакие звуки шагов не доносились ни с той, ни с другой стороны дороги. Никакие звуки не нарушали тишины ночи, только облезлые гнедые лошадки терлись мордами друг о друга да потряхивали бубенчиками.

Они как будто прислушивались, он на верхней ступеньке, она на нижней. Пока они разговаривали, она много раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, а раз или два стояла с минуту совсем рядом с ним, забыв сойти вниз, и сходила лишь погода. Сердце его плясало в такт ее движениям как поплавок на волне прилива. Он слышал, о чем ему говорили из-под шали ее глаза, и знал, что то ли в жизни, то ли в мечтах, в каком-то туманном прошлом, он слышал уже их повесть. Он видел, как она задается перед ним, красуясь своим платьем, нарядным пояском, длинными черными чулками, и знал, что уже тысячу раз он поддавался их власти. И все-таки, заглушая стук прыгающего сердца, какой-то голос в нем спрашивал, примет ли он ее дар, за которым стоило только протянуть руку И ему вспомнилось, как однажды они с Эйлин стояли, глядя, что делается во дворе гостиницы. Они смотрели, как служители поднимают на флагштоке гирлянду флажков, а по лужайке носится взад-вперед фокстерьер, и она вдруг расхохоталась и стремглав побежала вниз по виляющей дорожке. Как и тогда, он стоял сейчас неподвижно и безучастно: с виду спокойный зритель происходящей перед ним сцены.

– Ей тоже хочется, чтобы я ловил ее, – думал он. – Поэтому она и пошла на конку со мной. И мне ничего не стоит ее поймать, она же сама становится на мою ступеньку, и никто не смотрит. Могу поймать ее и поцеловать.

Но ничего этого он не сделал – а потом, когда сидел одиноко в пустом вагоне, разорвал свой билетик на клочки и принялся мрачно разглядывать желобки в полу.

На следующий день он просидел несколько часов за своим столом в пустой комнате наверху. На столе разложены были новая ручка, новый пузырек чернил и чистая изумрудного цвета тетрадь. На первой странице он по привычке написал сверху начальные буквы девиза иезуитов: A. M. D. G. На первой линейке возникло заглавие стихотворения, которое он хотел сочинить: «К Э-К-». Он знал, что так должно начинаться, потому что такие заглавия он видел в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заглавие и обведя его красивой чертой, он отвлекся и размышлял, чертя какие-то линии на обложке тетради. Он увидел себя сидящим за своим столом в Брэе наутро после того спора за рождественским столом: он сочинял стихотворение в честь Парнелла на обороте отцовских налоговых извещений. Но тема не поддавалась его усилиям, и, бросив свои попытки, он заполнил листок фамилиями и адресами одноклассников:

Родрик Кикем
Джон Лоутон
Энтони Максуйни
Саймон Мунен

Казалось, сейчас его вновь ждала неудача, но, когда он принялся размышлять о событии, к нему пришла уверенность. В этих размышлениях уходило со сцены и исчезало все, что ему представлялось обыденным, незначительным. Не осталось ни следа, ни конки, ни кондуктора с кучером, ни лошадей – даже он и она не появлялись во плоти. Стихи говорили только о ночи, о мягком дыхании ветерка и девственном сиянии луны. Какая-то невыразимая грусть таилась в сердцах героев, стоящих безмолвно под облетевшими деревьями, и когда наступил прощальный миг, поцелуй, к которому тогда лишь стремился один из них, соединил уста обоих. После чего внизу страницы были поставлены буквы L. D. S.⁶ – и, спрятав тетрадь, он направился в спальню матери, где долго рассматривал свое лицо в зеркале на туалетном столике.

Но долгий период его свободы и праздности близился к концу. В один прекрасный вечер, когда отец вернулся домой, его просто распирало от новостей, и он изливал их словоохотно все время ужина. На ужин было в тот день баранье рагу, и Стивен поджидал отца, зная, что тот даст ему помакать хлеб в подливку. Но рагу не доставило ему удовольствия, потому что при упоминании Клонгоуза у него сразу возник во рту мерзкий привкус.

– Я на него налетел буквально, – в четвертый раз повествовал мистер Дедал, – на площади, на самом углу.

– Раз так, я думаю, он сможет это устроить, – сказала миссис Дедал. – Я говорю насчет Бельведера.

– Еще бы он не смог, – заверил мистер Дедал, – я же сказал тебе, он теперь провинциал ордена.

– Отдавать к братьям-христианам, мне это всегда было не по душе, – сказала миссис Дедал.

– К дьяволу братьев-христиан! – заявил мистер Дедал. – Учиться с Микки Вшиви да Падди Гадди? Нет уж, раз начал у иезуитов, так пусть и держится у них, с Божьей помощью. Потом это еще так ему пригодится! Эти господа могут вам обеспечить положение.

– И это ведь очень богатый орден, правда, Саймон?

⁶ Laus Deo Semper – Вечно Бога Хвалит (*лат.*), формула, ставившаяся в конце сочинений в иезуитских школах.

– Уж как-нибудь! Живут широко, можешь мне поверить. Вспомни их стол в Клонгоузе. Дай Бог, откормлены как бойцовые петухи.

Мистер Дедал передвинул свою тарелку к Стивену, кивнув, чтобы тот закончил бы ее содержимое.

– А тебе, Стивен, – произнес он, – пора засучивать рукава, старина. Нагулялся, хватит.

– О, я уверена, он сейчас возьмется как следует, – сказала миссис Дедал, – тем более и Морис с ним будет.

– Фу ты, я про Мориса-то и забыл! – воскликнул мистер Дедал. – Эй, Морис! Поди-ка сюда, тупая башка! Знай, что я тебя скоро пошлю в школу, и тебя там научат складывать К-О-Т, кот. И еще куплю тебе хорошенький носовой платочек за пенни, будешь нос вытирать. Как здорово, правда?

Морис, ухмыляясь, поглядел на отца, потом на брата. Мистер Дедал ввинтил в глаз монокль и строго, пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен продолжал жевать хлеб, не поднимая своего взгляда.

– Да, кстати, – после паузы проговорил мистер Дедал, – ректор или точнее провинциал рассказал мне, что там у тебя вышло с отцом Доланом. Ты, он сказал, плут бесстыжий.

– Ну что ты, Саймон, он не сказал так!

– Нет, конечно! – отозвался мистер Дедал. – Но он мне дал полнейший отчет. Сидим мы с ним, понимаете, болтаем, слово за слово... Да, он мне и еще одно сказал, кому, ты думаешь, отдадут это место в администрации? Хотя про это я лучше потом тебе... Так, стало быть, болтаем накоротке, и тут он спрашивает меня, как наш приятель, носит еще очки? и выкладывает мне всю историю.

– А он не рассердился, Саймон?

– Рассердился! Да нет, конечно! *Мужественный мальш!* вот он что сказал.

Мистер Дедал изобразил умильно гнусающий голос отца провинциала.

– Мы с отцом Доланом – когда я всем это рассказал за ужином – мы с отцом Доланом вдоволь посмеялись. *Берегитесь, отец Долан, я говорю, а то мальши Дедал вам живо пропишет девять и девять.* Ну мы с ним и хохотали над этим! Ха-ха-ха!

Повернувшись к жене, уже обычным своим голосом мистер Дедал заметил:

– Можешь видеть, в каком духе они воспитывают парней. Врожденные дипломаты!

Он повторил, снова изображая голос провинциала:

– *Я всем это рассказал за ужином, и отец Долан, я, все мы вместе над этим от души посмеялись. Ха-ха-ха!*

* * *

Подходил час вечернего спектакля на Троичной неделе, и Стивен поглядывал из окна гардеробной на маленькую лужайку, над которой протягивались гирлянды фонариков. Он смотрел, как пришедшие зрители спускаются из главного корпуса по ступенькам и переходят в театр. Распорядители во фраках, из бельведерских выпускников, стояли кучками наготове у входа в театр, встречая церемонно гостей. Один фонарик вдруг ярко вспыхнул, и при его свете Стивен узнал улыбающееся лицо священника.

Святые Дары были убраны из дарохранильницы, а передние скамьи отодвинуты назад, так чтобы алтарное возвышение и пространство перед ним остались свободны. У стен выстроились ряды булав и гантелей, в один угол свалили штанги, а посреди массы холмиков из фуфаяк, маек, гимнастических туфель, торчащих небрежно из бумажных пакетов, стоял коренастый, кожей обшитый конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену. Большой бронзовый щит с украшениями из серебра, прислоненный к алтарю, тоже ждал своего часа, когда в конце гимнастических состязаний его вынесут на сцену и вокруг него расположится выигравшая команда.

Стивен, хоть он и был выбран старостой на занятиях по гимнастике за свою славу лучшего писателя сочинений, не участвовал в первом отделении программы, зато в спектакле, что служил вторым отделением, он играл главную роль – карикатурную роль учителя. Эту роль ему дали за его фигуру и за серьезный вид; он учился в Бельведере уже почти два года и заканчивал предпоследний класс.

Стайка младших учеников в белой спортивной форме, топоча, сбежала со сцены, через ризницу направляясь в часовню. И в часовне и в ризнице оживленно толпились наставники и ученики. Полный и лысый унтер пробовал ногой трамплин у коня. Худощавый юноша в длинном пальто, подготовивший особый номер с головоломным жонглированием, с интересом следил; из его глубоких карманов торчали посеребренные булавы. Еще одна команда готовилась к выходу, слышался звонкий шелк деревянных палиц, и через минуту волнующийся наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей; нервно взмахивая крыльями своей сутаны, он окриками подгонял отстающих. В глубине часовни маленькая компания неаполитанских крестьян репетировала танец, одни кольцом сводили руки над головой, другие покачивали корзиночками бумажных фиалок и приседали, раскланиваясь. В темном углу с евангельской стороны алтаря на коленях стояла тучная пожилая дама, утопающая в целом ворохе пышных черных юбок. Когда она поднялась с колен, за ней обнаружилась фигурка в розовом платье, в парике с золотыми локонами и соломенной шляпке старинного фасона; брови у фигурки были подведены черным, а щечки искусно подрумянены и напудрены. Явление девочки вызвало волну шепота по всей часовне. Один из наставников, улыбаясь, кивая головой, направился в темный угол и, отвесив тучной даме поклон, шутливо спросил:

– И что же это тут у вас, миссис Таллон, юная прекрасная леди или кукла?

Затем, нагнувшись и разглядывая раскрашенное улыбающееся личико под шляпкой, он воскликнул:

– Не может быть! Клянусь вам, это же, оказывается, малыш Берти Таллон!

Со своей позиции у окна Стивен слышал, как старая дама и священник вместе рассмеялись, и слышал за своей спиной восхищенный шепот учеников, пробиравшихся взглянуть поближе на мальчика, которому предстояло исполнить сольный танец со шляпкой. Жест нетерпения вырвался у него; он отпустил край оконной шторы, сошел на пол со скамьи, на которой стоял, и покинул быстро часовню.

Пройдя через здание колледжа, он остановился снаружи под навесом. Сбоку простирался сад, а из театра, стоявшего напротив, доходил приглушенный шум публики и резкие всплески меди военного оркестра. Сквозь стеклянную крышу свет поднимался ввысь, и театр казался праздничным ковчегом, ставшим на якорь среди домов – барж, причаленным за хрупкие цепи фонариков. Боковая дверь в нем вдруг распахнулась, и поперек лужайки упал сноп света. И так же вдруг в ковчеге грянул взрыв музыки, первые такты вальса. Когда дверь закрылась опять, ритм танца продолжал, хотя и слабее, достигать слушателя. Эмоция этих начальных тактов, их истома, их плавное движение усилили то неизъяснимое чувство, которое весь день волновало его, а минуту назад вызвало нетерпеливый жест. Волнение изливалось из него словно волна звука – и на гребне льющейся музыки плыл ковчег, увлекая за собой цепи фонариков. Но вдруг будто залп крохотной артиллерии оборвал движение. То были аплодисменты: приветствовали появление на сцене спортивной команды.

С другого конца навеса, ближе к улице, во тьме возникла точка розоватого света и, продвигаясь к ней, он почуял слабый душистый запах. Двое мальчиков стояли и курили в укрытии тамбура, и по голосу он еще издали узнал Цапленда.

– Благородный Дедал грядет! – воскликнул высокий гортанный голос. – Приветствуем достойного друга!

Приветствие заключил негромкий смешок, лишенный веселья, и после этой церемонии Цапленд принялся ковырять землю тросточкой.

– Да, вот и я, – произнес Стивен, останавливаясь и переводя взгляд с Цапенда на его товарища.

Тот был ему незнаком, но тлеющие кончики сигарет дали в потемках разглядеть бледное фатоватое лицо, по которому бродила ленивая улыбка, и рослую фигуру в котелке и пальто. Цапенд не дал себе труда их представить, сказав вместо этого:

– А я как раз говорю своему другу Уоллису, какая всех ждет потеха, если ты вдруг решишь в этой роли учителя поизображать нашего ректора. Это бы вышла классная шутка.

Тут Цапенд явно неудачно попробовал изобразить для Уоллиса занудный бас ректора и, сам засмеявшись над провалом попытки, попросил Стивена:

– Давай, Дедал, ты же классно его изображаешь. *И тот-кто тва-рит не-на-слуша-ние це-е-еркви ды-ы будет он тебе а-акии зычник и мытырь!*⁷

Копирование прервалось возгласом легкого раздражения Уоллиса, чья сигарета оказалась зажата в мундштуке.

– Провались он, этот треклятый мундштук, – ворчал юноша, вынув его изо рта и обзревая со снисходительным гневом. – Вечно в нем вот так заедает. А вы с мундштуком курите?

– Я не курю, – отвечал Стивен.

– Он не курит, – повторил Цапенд. – Дедал – примерный молодой человек. Не курит, не ходит по благотворительным базарам, не ухаживает за девушками, не делает ни этого, ни того и вообще ничего.

Стивен с улыбкой покачал головой, глядя в подвижное, легко вспыхивающее лицо соперника, украшенное птичьим клювом. Он часто удивлялся тому, что Винсент Цапенд при птичьей фамилии имел и птичью физиономию. Надо лбом у него, словно взъерошенный хохолок, торчал вихор бесцветных волос, сам лоб был узким, костистым, и между выпуклыми, близко посаженными глазами, светлыми и невыразительными, выдавался тонкий горбатый нос. Соперники водили дружбу еще со школы. Они вместе сидели в классе, занимали соседние места в часовне и после молитвенного правила за обедом болтали между собой. Поскольку в выпускном классе ученики были все как один безлики и тупоголовы, то Стивен и Цапенд стали в школе фактическими лидерами. Не кто иной, как они вдвоем, всегда отправлялись к ректору, когда надо было выпросить свободный день или избавить товарища от наказания.

– Да, кстати, – сказал вдруг Цапенд, – я видел, как твой предок прошел.

Улыбка на лице Стивена потухла. Любой намек на его отца, будь то со стороны товарища или учителя, лишал его спокойствия вмиг. С опаской он молча ждал, что Цапенд добавит дальше. Но тот неожиданно, толкнув его локтем в бок, заметил:

⁷ Ср. Мф. 18: 17.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.